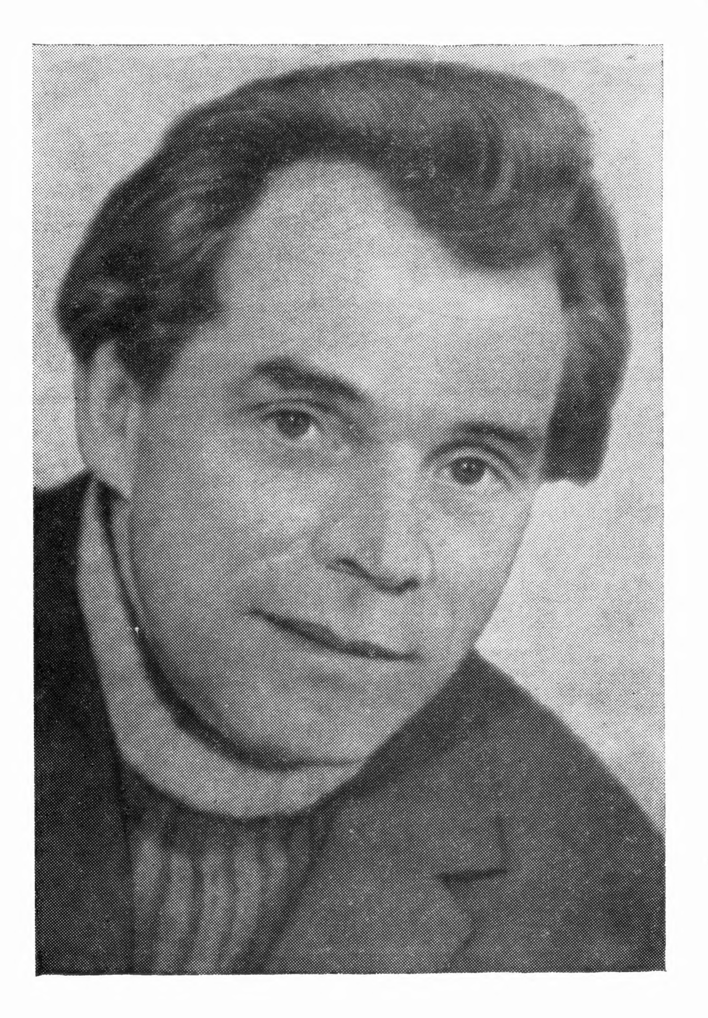
ВЛАДИМИР ЖУКОВ







ВЛАДИМИР ЖУКОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
·СОВЕТСКАЯ РОССИЯ·
МОСКВА · 1976

Р2
Ж86

Ж $\frac{70402-153}{М-105(03)76}$ 149—76

К ЧИТАТЕЛЮ



аверное, как и я, вы заметили, что в каждом итоговом сборнике стихов того или иного поэта есть свой эпицентр. То главное событие в жизни поколения, к которому принадлежит поэт и которое определяет авторские пристрастия и саму тональность книги.

Таким событием, такой сердцевиной в жизни моего поколения явилась Великая Отечественная война. На «незнаменитой» финской я был пулеметчиком. Отечественную закончил в должности командира пулеметного взвода. Вот почему даже в тех строчках, когда, казалось бы, автор весь в дне сегодняшнем, нельзя не заметить его загляда во вчерашний день. Слишком высокой ценой оплачена наша Победа. Слишком много дорогих могил на солдатских тропах памяти.

Как это ни странно, но с выходом человека в космос все мы повернулись и потянулись сердцем к родной земле. Да и по крупным земным делам своим, подобным БАМским, мы все чаще сталкиваемся лицом к лицу с природой.

Склоняясь над пеньком, вы, вероятно, не раз вглядывались в годовые кольца. Особенно четки они, когда чуть попривяли под солнцем, поприжухли от времени. Как любой человек, отсчитывает

подсознательно свои годы и поэт, кольцо за кольцом всю свою жизнь складывая свою одну-единственную книгу — книгу жизни. Вот почему стихи и расположились в хронологической последовательности. Это естественно, как и то, что в итоге, как при поперечном древесном распиле, год на год не приходится — то победней кольцо, то пообильней. Но все эти прекрасные и суровые годы мы прожили с открытым сердцем.

В. Жуков


Лирика

Между гражданской жизнью и военной

Ни голоса, ни всплеска во Вселенной,
ни шороха, ни стука, ни костра...
Между гражданской жизнью и военной
в кустах бежит, журчит река Сестра.

Но уж саперы припасли понтоны
в полуверсте от горькой той воды,
от той беды,
когда порой студеной
по всей России вымерзли сады.

1940

И горя вам мало

Вы за городом были? К началу успели?
Не успели. Забыли.
И все проглядели?..
Как же быть мне теперь?
Вы же так обещали,
так мечтали увидеть все это вначале.

Вам все время казалось забавным, я знаю,
что я душу деревьев и рек понимаю,
что знаком и с дубком,
и кленком,
и ольхою,
что с рукою сухою
стоит над рекою.

Вам казалось забавным и то, что метели
служат почтой мне
дважды и трижды в неделю.

Я весну обещал вам. А вы опоздали.
Не успели? На поезд билет не достали?
Вас дела задержали?..
И это едва ли.
Нет,
вы мне не поверили в самом начале.

Как же быть мне теперь?
Вы же все проглядели!
И весна началась для вас только с капели.
Вам в трамвае сказали: «Грачи прилетели!»

Вам взгрустнулось.
Быть может, меня пожалели?

А зачем пожалели?
Неделя в неделю
и грачи прилетели, и пали капели,
и в свой срок почернели заборы и ели,
и на насыпи талой вдруг высохли шпалы.

Неужели
вы, правда, подумать посмели,
что не видел я капли,
что первой упала?

Пусть на совести вашей останется это.
Началось не с того,
а вот с этой приметы —
стало больно глазам от полдневного света,
сверху чуть голубой,
в глубине — синеватый,
вдруг осел под ногой старый снег ноздреватый...

К сухорукой ольхе, что стоит над рекою,
я пришел налегке и припал к ней щекою,
и она мне сказала, что это — начало
и что вы опоздали, и горя вам мало.

1940

Привал

А за спиной — вся Россия,
ни боли, ни страха нет...
Задраены фары синим,
кипит над колонной снег.

А мы налегаем на палки
вдоль Выборгского шоссе.
И валимся с лыж вповалку,
и вмиг засыпаем все...

Промерзли подшлемники рыжие,
заштриховались кусты...
И — нет никого. Лишь лыжи
над нами торчат, как кресты.

1940

В рост старшины размечена землянка

В рост старшины размечена землянка —
и взвод зарылся в гравий и песок...
До белизны раскалена времянка,
надежен в два наката потолок.

Все дальше запоздалые удары,
все медленней течет песок, пыля...
Всем существом вдруг вздрагивают нары,
и ошалело охает земля.

Над смятым срезом гильзы орудийной —
как бы от стужи ежится огонь...
И сыплет вновь дневальному посыльный
бессонную махорку на ладонь.

Наружу глянь — и тут и там в сугробе,
как воткнутый, трубой дымок стоит —
как будто печку в преисподне топят,
а к нам сюда сквозь щели дым валит.

1940

Атака

Дождем и снегом сеет небо.
А ты лежишь. И пóтом взмок.
И лезет в душу быль и небыль,
гремит не сердце, а комок.

Почти минута до сигнала,
а ты уже полуприсел.
Полупривстала рота. Встала.
Полупригнулась. Побежала...
Кто — до победного привала,
кто в здравотдел, кто в земотдел.

1943

Мама

В проломах стен гудит и пляшет пламя,
идет война родимой стороной...
Безмолвная, бессонная, как память,
старушка мать склонилась надо мной.

Горячий пепел жжет ее седины,
но что огонь, коль сын в глухом бреду?
Так повелось, что мать приходит к сыну
сквозь горький дым, несчастья и беду.

А сыновья идут вперед упрямо,
родной земле, как матери, верны...
Вот потому простое слово «мама»,
прощаясь с жизнью, повторяем мы.

1943

Радуга

На рвы, за сопки отдаленные,
по рубежам передних линий,
бросая молнии зеленые,
пять раз с утра ходили ливни.

И, человечьи души радуя,
как бы впервой на белом свете,
над облачком взыграла радуга
и засияла многоцветьем.

Неся земле от солнца весточку,
то синие, то голубые,
срываясь с веточки на веточку,
катились капли дождевые.

И лес, насквозь промытый грозами,
став молодым и серебристым,
сверкнул дубами и березами,
ударил запахом душистым.

1943

Позывные сердца

Ну что с того, что все мы тленны... По́лно,
коль не забудешь,
затоскуешь ты,
среди других найдешь меня, коль волны
твоей души не сменят частоты.

А смерть глупа. А смерть слепа, бессонна —
знай по стволам
своей клюкой стучит.
И если навсегда с землей зеленой
меня шальной осколок разлучит —
к своим,
к землянке вытащат связные,
хоть о тебе не знают ничего...

Пройдут года...
Ты слышишь позывные
простреленного сердца моего?

1943

В разлуке

Людмиле

Бывало, день прожив в разлуке,
как тосковать умели мы.
Как ты протягивала руки
навстречу мне из полутьмы!

Октябрь листву срывает с вербы,
седеют камни под бугром.
А утром заморозок первый
траву покроет серебром.

Неделям счет давно потерян.
Вновь, прилетев издалека,
твой старый дом, как чудный терем,
украсят белые снега.

И ветер колкою порошей
ударит в окна, в рог трубя...
Ты снишься мне такой хорошей,
какой я выдумал тебя.

Скупой солдатскою судьбою
ты мне обещана давно.
Там, за последним смертным боем,
твое мне светится окно.

Четвертый год живя в разлуке,
ты не устала ждать меня.
И я протягиваю руки
к тебе из пепла и огня.

1943

В траншее

Когда о доме, о семье
поговорят друзья в траншее —
теплей им на сырой земле
и на душе у них теплее.

У лейтенанта на висок
из-под ушанки — прядь седая.
Удар. И зашумел песок,
на спящих пылью оседая.

И ничего, что пушки бьют
и затекли в обмотках ноги,—
сюда, в солдатский наш уют,
войне отрезаны дороги.

1943

Свежо дыхание любви

Как близко все и как далеко!
Не дотянуться ни за что,
чтоб с глаз твоих откинуть локон,
подать заботливо пальто.

И, до смешного став счастливым,
в кипящий ливень проливной
пойти в кино... Ты терпеливо
ждешь писем с почты полевой.

И на день нас не разлучали —
свежо дыхание любви.
Я научился в дни печали
петь песни грустные твои.

И пусть далек мой стан походный
и так тревожно на войне,
я знаю: ночью новогодней
ты гостьей явишься ко мне.

Еще ветра не заметали
следов кровавых на снегу.
И я стихи из дальней дали
тебе слагаю. На бегу.

1943

Равнина

Когда-нибудь и эти дни в былине,
в людской молве, но свой оставят след...
На все четыре стороны равнина,
в воде по пояс, по колено в глине
пройди ее... Иной дороги нет.
Ты далеко. За тыщи верст. В России,
в краю берез плакучих да осин.
Скажи, зачем я думать стал о сыне,
не бред ли это?.. Ну какой же сын!
Но всякий раз, о будущем мечтая,
едва на минах обведут пути,
кой-где флажки заботливо втыкая,
я вас обоих к синему Дунаю
хочу своей дорогой привести.
На все четыре стороны равнина,
отроги Альп в тумане, как в дыму.
Пусть воевать здесь не придется сыну,—
я обучить его хочу всему,
что сам умел и что не пригодится
ему, коль на век хватит дел моих:
пить из воронок дымную водицу,
вполглаза спать, с товарищем делиться
всем, что имеешь. Честно. На двоих.
Бьет пулемет... И миномет долбает.
Не всех спасут, не всех и погребут...
Но день настанет, уж солдат-то знает:
равнину между Тиссой и Дунаем
по праву сущим адом назовут.

1944

Не судьба

Она бросить его хотела,
но сказать о том не успела.

Голосит ошалело зуммер —
к аппарату сержанта зовет...

Он судьбу обманул — умер
от немецкой пули в живот.

1944

„На запад“

Поставленная девичьей рукой
в последнем русском выжженном местечке,
мне с праздничною надписью такой
на КПП[1] запомнилась дощечка.

Здесь был конец моей родной земли,
такой огромной... Дальше шла чужбина,
куда друзья мои уже прошли
и шли потоком танки и машины.

В нагольном полушубке под ремень
на перекрестке девушка стояла
Веселыми флажками в этот день
она нас всех на запад направляла.

Девчонке документы показав,
я с легким сердцем перешел границу...
А у девчонки карие глаза,
тревожные, как у тебя, ресницы.

1944

---

[1] КПП — контрольно-пропускной пункт.

Березовая веточка

Вчера ножом с шинели счистив глину,
я из окопа вылез и по склону,
сменившись, с ротой отходил в долину
на отдых ко второму эшелону.

Весь снег с горы согнало к той минуте,
и ручейки, спеша, стремились мимо.
И стали резкими на талом грунте
следы-воронки от разрывов минных.

Землею, талым льдом и ветром мая
пахнуло так, что, опьянев, на камень
я сел и, ничего не понимая,
стал робко трогать веточку руками.

Все запахи земли перебивая,
от рук моих березовым настоем
запахло. А березка, оживая,
напомнила мне самое простое —

под парусами детства уходящий
бумажный флот из книжки и тетради
и тот насквозь дождем промытый ящик,
который я на дереве приладил.

Еще гостей в нем нет. Но скоро, скоро
его займет скворец большеголовый...
Со всех сторон меня теснили горы.
А я сидел, твердя одно лишь слово:

«Россия, родина моя, Россия...»
И предо мной бескрайние вставали
поля, как сны, от солнца золотые,
и города из пепла и развалин.

И как бы труден ни был подвиг ратный
на обагренных кровью горных склонах,
я с камня встал и повернул обратно
к окопу от второго эшелона.

1944

Ты не ходи на побережье

Ты не ходи на побережье,
не жди меня из грез и снов.
С мечты, как с мачты, ветер срежет
обрывки алых парусов.

Зеленоватую пучину
не заклинай и слез не лей.
Все будет проще — не по Грину —
в солдатской участи моей.

1941

Волгарь

Он с малых лет запомнил запах ржи,
речной простор вошел в него надолго.
В раскатах боя мирный скрип баржи
он различал, веселый крючник с Волги.
Был этот парень как дубовый кряж.
Медлительный и мудрый, как былина,
он, как избу, кряхтя, рубил блиндаж,
осколки стекол вмазывал в суглинок.
Бой глухо колобродил за рекой.
Свою работу по-хозяйски взвесив,
он разложил гранаты под рукой,
бутылки осмотрел с горючей смесью.
На рожь взглянул — стоять бы ей в снопах!.
Паля из пушек, скрежеща железом,
как носороги, с свастикой во лбах
двенадцать танков вырвались из леса.
И, подпустив врага до ковыля,
он весь напрягся первородной силой.
Не Муромца ли, мать сыра земля,
ты в этот день на подвиг воскресила?..
Его нашли в окопе. Он был жив.
Героя смерть коснуться не посмела,
он отличал от гари запах ржи
и смог еще подумать: перезрела.

1944

Гудела танками дорога

Скрипел сверчок в трубе печной,
гудела танками дорога.
А мне приснился дом родной
и мать-старушка у порога.

Все ждет родимая, все ждет...
Но бесконечны дни разлуки.
Прошел военный.
— Сын идет! —
Но нет, не он. Сложила руки.

И не зазвать ее домой,
весь день стоит у хаты низкой.
— Позапоздал, должно быть, мой?
Ему с Карпат идти не близко...

1944

Подснежник

Был снег по плечи... Я и не заметил,
когда впервые запахом земли
в лицо пахнул мне беспокойный ветер
и на березах почки отошли.

И полушубок сразу стал не нужен.
Невесть откуда взявшись, на тропе
заголубели, зачернели лужи
и обвалились стенки у НП[1].

И запестрели рыжие пригорки
сквозь проволоку на земле ничьей.
На песню от простой скороговорки,
сливая звуки, перешел ручей.

И корочку листвы едва осилив,
ко мне в окоп головку наклоня,
открыл глаза подснежник бледно-синий
и изумленно смотрит на меня,

на гильзы, на солдатские портянки,
что ветерок трепал, отволгло свеж.
Мы этой ночью выдвинули танки
и выкатили пушки на рубеж.

Нам надоела нудная зимовка,
коптилок чад, и лабиринт траншей,
и выстрелы из снайперской винтовки
с давно осточертевших рубежей.

---

[1] **Н П — наблюдательный пункт.**

В бездействии вконец изнылись души,
ждя наступленья, как войны конца...

Шипя и воя, грянули «катюши»,
и, холодея, екнули сердца.

1944

Фришгоф

Устали танки. И все реже, реже
по черепице битой — стук шагов...
И тишина легла на побережье,
и черный дым уходит на Фришгоф.

И кажется, что по всему окружью
сама земля болотная горит.
Забит весь берег скарбом и оружьем,
на трупе труп — стрелки и пушкари.

Взбежав на гравий, вдаль волна уносит,
крутясь в камнях, от диких берегов
железный хлам, труху, осколки весел,
обломки палуб, трапов и бортов.

Так торжествует правда, зло сметая,
и игроки выходят из игры...
Гуди, прибой. Крутись, волна морская,
к тебе пришел я от Сапун-горы.

1945

Россия

Михаилу Кочневу

Гудели танки, пушки корпусные
месили грязь и вязли до осей...
Знать, из терпенья вышла ты, Россия,
коль навалилась с ходу силой всей!

Какой маньяк посмел подумать только,
что ты покорной будешь хоть на миг?..
Россия — удаль гоголевской тройки,
Россия — музы пушкинской язык.

На тыщи верст — поля, леса да кручи,
в раздолье тонут синие края...
Где есть земля суровее и лучше,
чем ты, Россия, родина моя?!

1945

Твой след

А знаешь, это тоже много —
за сутолокой заграниц
ведь где-то в жизни есть дорога,
тревожный взмах твоих ресниц.

Есть боль, что на сердце не тает,
и ночь, идущая в рассвет...
И тихо-тихо заметает
весенний снег твой легкий след

1945

Чадца

Банска Быстрица, Зборов, Чадца —
города на моем пути.
В дом стучаться — не достучаться
и хозяина не найти.
Каждый шорох — как выстрел гулкий,
каждый выстрел шальной — в меня.
Рассыпается в переулках
автоматная трескотня.
Где тут немцы и где словаки?
Отличи врага от своих!
Посложнее любой атаки
заваруха неразберих.
Оцени обстановку верно —
ты разведчик, кругом бои.
На вопрос из-за двери: вер да?
Отвечаю быстро: свои!
Лучше было бы побояться,
поберечься бы, обойти.
Провалиться тебе бы, Чадца,
что ж ты встретился на пути?!
Напружинив до боли плечи,
рвем с товарищем за кольцо.
Выстрел. Падает в тьму разведчик,
как подкошенный, на крыльцо.
Что ж, что нам удалось ворваться
и дознаться у них до всего?
Городишко заштатный Чадца
взял товарища моего.

1945

2 Заказ 404

Послесловие 1945 года

От Москвы до Эльбы
во земле сырой
наше поколенье
выравняло строй.

Души отгремели,
ватники истлели,
и навзрыд отпели
белые метели.

Оступились войны
на друзьях
моих...
Мертвые спокойны
за живых.

1945

Последняя атака

Памяти пулеметчика Тихона Китаева, павшего за высоту «980» в Чехословакии

Я не о тех, кто, затаив дыханье,
шифровки ждал:
те знали!..
Я о том,
кто рухнул и не ожил в изваяньях,
в свой смертный час хватая воздух ртом.

Строка моя, не покриви душой,
а извернешься — мне прощенья нету...
Раскинув руки, пал товарищ мой,
не выпуская пулеметной ленты.

В глазах всплеснулась, замерла печаль,
у губ забронзовела в складках горько.
За Сталинград
потертая медаль
качнулась на линялой гимнастерке.

Земля и кровь скипелись у бровей.
Он умер тихо, Тихон... Он не ведал,
что вот она, почти пришла Победа...
Но это не касалось батарей.

Еще так густ и плотен шелест мин,
кусты разрывов захлестнули рощу.
Прицельно по товарищам моим
остервенело бьет фаустпатронщик.

От жажды губы сухи, как наждак.
Обрывки мыслей: дома будут плакать...

Глухая многолетняя вражда
нас подняла в последнюю атаку.

Пинком с наката сброшен котелок
и с высоты гремит о камни в балку...
И взмыл на пулей расщепленной палке
над крышей дзота яростный флажок.

1945

Снег

До чего же лих
век.
До чего же тих
снег!

Легкокрыло кроет поля,
чтобы раны скрыла земля.

Он скользит нейтрально
с ветвей.
Беспечально —
в сути своей.

Белый-белый плат приспустил
над полынью братских могил.

Заметает
тих-чародей
и врагов моих,
и друзей...

Он такой, что, если бы мог,
и меня лишил бы тревог,
затяжному горю помог,
размягчил бы в горле комок.

Колыхнула лапами
ель —
слабо-слабо
вьется метель.

Отряхнуться так же бы вот:
отболит, пройдет, заживет!

Только, снег,
я так не могу —
я за всех
в ответе,
в долгу.

Еще рано спать-почивать:
еще может грянуть опять...

А снежок кружит и кружит,
голубые хлопья пушит,
еле-еле-еле шуршит...
Знать, с того и в горле першит.

До чего же тих
снег.
До чего же лих
век!

1945

Мне ничего не надо

А я люблю осеннюю прохладу,
люблю простор синеющих полей.
Мне так легко, мне ничего не надо,
мне так светло здесь от любви твоей!
Лишь только б в небе видеть журавлей
да слышать тихий шелест листопада.

1946

Якову Шведову

Я городов не помню, мне едва
одну дорогу описать пока,
где по кюветам черная трава
да лошадей раздутые бока,

где ветер смерти бьет в глаза и где
одни воронки, рвы да пустыри,
а у обочин в дождевой воде
спят вечным сном стрелки и пушкари...

Там не пройти без боя и версты.
Товарищ мой! Закрою лишь глаза —
и вот они, разбитые мосты,
и вот они, горелые леса.

Но если спросишь ты сейчас меня:
такой-то город брал я или нет? —
припомнив вихрь железа и огня,
я промолчу, наверное, в ответ.

Но если скажешь ты, что там трава
была темна от крови и мертва,
что день и ночь без устали вокруг
за каждый камень бились и чердак,—
я не солгу, когда отвечу так:
— Пожалуй, брал я этот город, друг.

Но если ты попросишь рассказать
про наш плацдарм на тисском берегу,
я промолчу, наверное, опять
и показать на карте не смогу.

Но если сам ты помнишь город Чоп,
изломы дамбы в пламени, в дыму,
так ты меня не спросишь ни о чем,
и, значит, карта будет ни к чему.

Я не писал на фронте дневников,
я позабыл названья городов —
их слишком много было на пути,
пока в родной мне довелось войти.

1946

Ударный эшелон

А время знай гудит над головою.
Мелькают дни. И в сонме лет и дней
я словно виноватый, что былое
опять владеет памятью моей.

Под заунывный вой метелей диких
вот он опять, я вижу, под уклон,
весь в клочьях дыма, лязгая на стыках,
летит, летит ударный эшелон.

Продутый ветром, гарью занесенный,
и копотью, и снегом за пять дней,
он наконец в прифронтовую зону
врывается — на полном — без огней...

И души пригибает рев орудий,
от вспышек залпов слепнет небосвод.
Седой декабрь был на исходе. Люди
здесь, как могли, встречали Новый год.

Над полем брани, над Москвой, над миром
летела ночь в холодном вихре звезд...
В расшатанной теплушке, не в квартире
мы за победу поднимали тост.

И, доживая в бедах сорок первый,
еще не зная счастья своего,
мы верили лишь нам понятной верой
в сегодняшнее наше торжество.

1946

Все любо мне

Сбиваясь с ног,
бегут, бегут ручьи,
скороговоркой оглашая воздух.
На старых ветлах,
осыпая гнезда,
весь день галдят горластые грачи.

В лугах ликует полая вода —
здесь власть воды и ветра,
как на море.
А я ни разу моря не видал,
с нездешним ветром никогда не спорил.

Люблю встречать весну в родном краю!
Она куда скромней здесь,
чем на юге,
она не вдруг ручьям развяжет руки,
и соловьи не сразу запоют —
по первому дыханью узнаю
ее приход
вслед за последней вьюгой.

Иной и не заметит сгоряча,
как потемнеют купы старых ветел
и ляжет тень.
А я уже приметил
в набрякших сучьях первого грача.

И любо мне, проталину найдя,
пригретый солнцем разбросать валежник,

на робкой ножке
увидать подснежник,
подслушать шум далекого дождя.

Залюбоваться облачком крылатым
и ждать, как блага, появленья трав.
В лесу иль поле, запропав с утра,
плутать,
бродить
до самого заката,
до синих звезд...
Да слушать соловья,
дышать настоем ландыша и мяты.
Все любо мне, все дорого и свято
в краю счастливом, где родился я.

1946

Пулеметчик

С железных рукоятей пулемета
он не снимал ладоней
в дни войны...

Опасная и страшная работа.
Не вздумайте взглянуть со стороны.

1947

Про это

Догорит с годами по кюветам
даже орудийное литье.
Многое забудется. Но это
душу не отпустит в забытье.

Будешь ты на Волге иль на Тезе,
в заводской иль сельской стороне —
полоснет по сердцу скрип протеза,
как шальной осколок на броне...

Сколько их — из верных самых верных —
навсегда осталося в былом
под защитой звездочек фанерных —
молодых, душевных, незабвенных?
Сколько их — друзей моих отменных —
вымеряет землю костылем?

1947

Сам словил я пулю немецкую

Если был бы я прорицателем,
предсказателем-толкователем,
снов и слов твоих толмачом —
не журилась бы ни о чем.

Сны смотреть тебе стало б некогда,
собралась куда, а и некуда —
хорошо за моим плечом.

Навсегда права,
ты лишь мной жива,
из ключиц моих проросла трава.
И летят журавли трубя...

Мне спросить за жизнь свою не с кого —
сам словил я пулю немецкую,
что хотела убить тебя.

1947

На перевале

В земле весенней чужедальних Татр
на перевале пехотинцы спят...
Ребят друзья в ту землю закопали,
стаскали в пирамиду валуны —
на круче лысой по-над Закопане,
в полуверсте от устья той войны.

На всем ходу срываясь с перевала,
война под перевалом в мир впадала,
Сирень чадила, плавилась заря.
На орудийном передке в сторонке
писали «похоронки» писаря.

Они писали правду, как умели,—
как по железу, перьями скрипели,
всю боль на совесть на свою беря...
И матери от горя каменели,
невесты не повенчаны вдовели,
и ротные седели писаря.

1947

Ориентиры

День и ночь над землянкой штабной —
только дождь проливной. Только стук
рассыпает, урча, пулемет —
то ль от скуки, а то ль на испуг
пулеметчик кого-то берет,—
вот и бьет то по фронту, то вкось,
прошивая лощину насквозь.

А потом и ему надоест —
оборвет. Ловит шорохи лес,
жаркий шепот поспешный: «Свои» —
в тьме кромешной средь тихой хвои.

И опять над землянкой штабной —
только ветер да дождь проливной,
да нет-нет за стеной часовой
на приступок опустит приклад.
Иль шальной недотепа-снаряд
прошуршит и влетит в перегной.

Хорошо, если не по своим!
А по ним, по нему...
Не пойму, хоть солдат, почему
этот дым в дождь всегда сладковат?

Сквозь прицельный расщеп блиндажа
что я видел?.. Болотная ржа
всколыхнется, ударит огнем —
и пошла вся земля ходуном.

Справа, так мне сказал командир,
ель — мой первый ориентир,

слева взлобок, приметный едва,—
ориентир номер два...

Я постиг и душой и умом
то, что в секторе было моем
с первых дней до последнего дня.

Вот о том и спросите меня.

1947

Мы просим об одном тебя, историк

Был отступленья путь солдатский горек,
как горек хлеба поданный кусок...
Людские души обжигало горе,
плыл не в заре, а в зареве восток.

Рев траков над ячейкой одиночной
других сводил, а нас не свел с ума.
Не каждому заглядывали в очи
бессмертье и история сама.

Пошли на дно простреленные каски,
и ржавчина затворы извела...
Мы умерли в болотах под Демянском,
чтоб, не старея, Родина жила.

Мы просим об одном тебя, историк:
копаясь в уцелевших дневниках,
не умаляй ни радостей, ни горя —
ведь ложь, она как гвозди в сапогах.

1947

О медалях

«Из одного металла льют
медаль за бой,
медаль за труд...»

Все это так, все это так,
но на войне, бывает,
всего и разницы — пустяк:
бывает — убивает.

А в остальном — все так, все так.

И вот он,
день вчерашний:
отсюда вырвался наш танк
и поворочал башней.

И бил водителю в зрачок
сквозь щель
снежок противный.
И был всего-то с пятачок
простор оперативный.

Но на войне, но на войне
случаются и срывы.
Огонь прошелся по броне,
все скрыл за черной гривой...

А тот, другой,
все эти дни —
не хворый, не болезный —

сидел в Ташкенте на «брони»
с решимостью железной.

За пятерых работал он
не шибко, да заметно.
И был при жизни награжден...
А тот танкист —
посмертно.

1948

На Мамаевом кургане

Когда тебе придется в жизни круто —
любовь изменит,
отойдут друзья
и, кажется, прихлынет та минута,
перед которой выстоять нельзя,—

приди сюда,
на этот холм отлогий,
где в голыши скипелись кровь и сталь.
Вглядись в свои обиды и тревоги,
в слова,
в дела,
в нелегкие дороги,
все соизмерь и на колени стань.

И многое предстанет мелким, вздорным,
и боль утихнет,
хоть была крепка...
Полынь и щебень. Как трава упорна!
И отливают бронзой облака.

1950

За разговорами колес

Пройдет и это. Перемелется
за разговорами колес.
Опять погода переменится
и повернется на мороз...

Гремя спеленатыми лыжами,
сойдут девчата на перрон.
Почти скульптурно
куртки рыжие
их впишут в плоскости окон.

И вдруг
в случайной той попутчице,
с которой ехал час ли, два,
тебе любовь твоя почудится,
что в светлой памяти жива...

Пускай ни в чем не разуверится
и не поддастся на износ.
А остальное — перемелется
за разговорами колес.

1954

Сережка

Ничто в солдатской памяти не стерто,
хоть вспомнить и не всякое берусь...
Передовая. Год сорок четвертый,
и где-то в подсознанье: «Вот вернусь,
вот выживу...» Осколок чавкнул в глине —
и мимо смерть, и снова тишина.
Где тот солдат, чтоб не мечтал о сыне,
о женщине, что навсегда верна?
Я всю войну ловил себя на этом —
в санбатах, у походного огня...
На всех парах весна входила в лето —
родился сын Сережка у меня.
Ему сегодня годик. Вот он снова,
забрав с собой пустышку и волчок,
бежит ко мне, сверчок белоголовый,
глазастый, голенастый, как бычок.
Ну что ж, садись. Послушай, что ли, сказку,
а бабушка задремлет — мы опять
вон выбросим перинку из коляски,
чтоб к пустякам таким не привыкать.
Так говорю. А сын свое привычно
кричит, лепечет, тянет за штаны.
Мы в этом разбираемся отлично —
мы с ним пойти на улицу должны.
И мы идем. Нас вдаль ведет дорожка,
она пока всего лишь до ворот...
Во все глаза глядит на мир Сережка,
восторженно засунув палец в рот.

1955

Никого я в жизни не обманывал

Никого я в жизни не обманывал
и в строке душой не покривил...
Почему же, вглядываясь заново
в жизнь свою,— утрачиваю пыл?

Не беда, что строки сплошь иль в лесенку,
важно — что и как отображал.
Здесь спешил как на пожар — и бéз толку,
здесь — лет на пятнадцать запоздал.

Здесь — за современность злободневное
засчитал с редактором вдвоем.
Где поднять бы надо слово гневное —
заливался курским соловьем.

Город мой родной, мое Иваново,
от святых могил и до стропил,
не кривил душой я, не обманывал,—
значит, верил, если говорил.

1956

Утро

Еще Москва спала. Лишь блики
скользили с темью пополам.
Но шапку снял «Иван Великий»,
и заиграли купола
церквей кремлевских —
ближней, дальней...
И каждой башни непростой
живым огнем звезды хрустальной
Кремль засиял мемориальной
и нашей
вечной красотой.

Теперь здесь про́пуска не спросят —
приди подумай,
помечтай...

И утро шло. В цветах и росах,
с улыбкой, солнцем через край,
с чуть слышным отзвуком фокстрота,
что, не страшась людской хулы,
чрез Боровицкие ворота
ребята с бала увели.

Не упрекну я их ни словом.
Да ведь и нам забыть пора б,
как прямо с бала выпускного
шли в танк,
в окоп
иль на корабль.
Совсем другое было время,
и спрос иной, иной и быт...

Не помирюсь, однако, с теми,
кто был бы рад и все забыть.
Всему — свои и срок и память,
когда она не в дырках сплошь.
Вот жизнь пощупаешь руками —
все сам оценишь и поймешь.
Поймешь и то,
как горько-сладко,
когда на половине жизнь,
хотя б по этой вот брусчастке,
гуляя, запросто пройтись.
Присесть и вынуть папиросу,
всмотреться вновь
в свой вклад и пай...

И утро шло.
В цветах и росах,
с улыбкой, солнцем через край.
И утро шло, цвело, летело.
И, засучивши рукава,
со всей душой бралась за дело
похорошевшая Москва.
Брала в бетон плывун проточный
в глубинах недр.
А над Москвой
со стороны юго-восточной
стальным собратьям на Песочной
кивали краны головой.

И каждый знал — там тихо, мирно,
без громких слов
и пышных фраз
не лозунг —
дом многоквартирный
сходил с потока каждый час.
Вселялись жители...

А где-то,
отнюдь не вольтовой дугой,
ступень космической ракеты
к ступени ладилась другой.

И утро шло в поход свой дальний
во все концы
земли родной.
И каждой башни непростой
живым огнем звезды хрустальной
светился Кремль
мемориальной
и нашей
вечной красотой.

1956

К сердцу прикипевшая строка

Б. С.

Бойся слов захватанных и пышных,
хитроумной рифмой не греши.
От корней трава растет неслышно,
из камней река течет как вышло,
так же вот, как дышишь, и пиши.

Чтобы на корню не захирела,
а летела в грады и луга,
чью-то жизнь не походя задела,
чью-то душу надолго согрела
к сердцу прикипевшая строка.

1957

А надо жить прямей и проще

А надо жить прямей и проще,
лукавых слов не говоря...
Пока шелка свои полощет
за зорькой новая заря.

Пока и мысль о крайнем часе —
еще нелепа и смешна.
Пока вся жизнь еще в запасе,
как хлеб, что выдал старшина.

Прямей ставь ногу на дорогу,
добрей, версту кладя к версте...
Ведь в крайний час немного проку —
что в прямоте, что в доброте.

1957

Баллада о лекции

Мне лекции читали и нотации,
случалось — и со стружкою скребли...
Железные забылись интонации,
до сердца — задушевные дошли.

От века — сила слова безгранична —
в бой поведет иль с ног собьет оно.
Особенно, когда примером личным
и жизнью всей оно подкреплено.

А мы порой и складно, но болтаем,
дежурно фразы вяжем без труда...
Мне лекция простая под Валдаем
одна запала в душу навсегда.

Была она решительно короткой,
без текста, без конспекта, без цитат...
Из торфяного месива в обмотках
восстал солдат, треух сорвал солдат.

Сквозь муть снежком весенним порошило,
кощунственно подснежники цвели.
Под животами хлюпали настилы —
и пули и осколки все твои.

Нам с самолетов по ночам подбрасывали
в мешках бумажных рыбную муку.
В воде болотной мы ее размазывали
по котелкам. И ели как уху.

Какие тут костры, какие кухни,
когда противник — с четырех сторон.
Мы с голодухи сникли и опухли,
всяк для себя приберегал патрон.

Разок-другой пальнешь — и то уж лишку:
сейчас же мина распушит свой хвост...
А он поднялся! Замполит. Мальчишка.
Над жизнью и над смертью — в полный рост.

Он мог в тот миг великим показаться,
бессмертьем озаренный рядовой.
— Чем догнивать — попробовать прорваться...
Ребята, братцы, кто живой — за мной!

Нам в кровь колени сучьями растерло,
и ватники с нас клочьями сползли,
когда в трясине ледяной по горло
ползли, ногой не чувствуя земли.

Прямым, косоприцельным били немцы
по головам, по кочкам, по кустам...
Болотные солдаты, окруженцы,
о сколько нас навек осталось там!

И все-таки пробились мы, продрались,
с уроном, но добились своего.
С трудом, на карабины опираясь,
мы выносили мальчика того.

На плащ-палатке, мерзлой и изрезанной,
лежал он и уже не видел нас...
Он смог под пули повести нас лекцией.
Единственной. И тем от смерти спас...

А мы порою лекции читаем
об этике, о воспитанье чувств,
а сами потихоньку попиваем —
не все, но за иных не поручусь.

А мы порой, увлечь других стараясь:
— Все на село,— глаголем,— мы должны...

А сами остаемся вдруг, ссылаясь
в последний миг на «темноту» жены.

Пускаем в ход знакомства да протекции.
От текстов не поднять нам головы...
Я всей душой за лекции!.. За лекции,
как под Валдаем. Той весной. А вы?

1957

3 Заказ 404

Люди добрыми будут

На колючую проволоку больше не лезем.
Мертвой хваткой схватившись со стужею жуткой,
бьем сапог о сапог. Ноги — словно протезы.
На снегу коченеем четвертые сутки.

Хоть бы ночь поскорее. Как вечность бы длинная.
Поднялась бы метелица хоть ненадолго.
Все болото в воронках, в проплешинах минных...
Снова мина. И ноющий посвист осколков —

раньше вскрика. Всегда так бывает. И грохот
сапога о сапог. А в кустах, за кюветом,
стон — что выдох, и больше ни стона, ни вздоха.
Завтра писарь бумагу составит об этом.

И скрепит ее подлинность подписью броской
командир. И погибнет потом под Демянском...
Потому и молчу, когда люди с расспросами
про войну. И по-детски чувствителен к ласке.
Жадность к жизни и жалость я вынес оттуда —
из-под минных разрывов,
где мерзли в валежнике мы...
Не страшись. Мир сегодня — не сказка, не чудо,
люди добрыми будут, взаимно вежливыми.

1958

Эх, ребята, как же вы посмели?

Студентам литинститута с яхты «Витязь»

То ли берег, то ли побережье —
не решусь сказать наверняка.
Обернулась морем у Разнежья
Волга-матушка река.

Разнесла пакгауз за причалом,
пропиталась солью и сосной.
Стало мало —
камни обкатала,
под обрыв ударила волной.
На ветру взмахнула пенной гривой,
на колени пала у ракит...

Берег словно вымер. Над обрывом
одиноко девушка стоит.

Не стоит — почти летит. Всем телом
подалась навстречу парусам.
Камушек задень — и улетела,
и ушла, как в сказке, по волнам
прямо к яхте,
что в лагуны Крыма
парусами алыми зовет.
И легенда выдумщика Грина,
в сотый раз воскреснув, оживет.
Как они лучились, как сияли —
широко открытые глаза!..
Но, бледнея, уходили в дали
алые косые паруса.

Мне хотелось крикнуть: — Эй вы, люди,
черт бы вас побрал... На корабле!

Если не поэты, кто же будет
делать людям счастье на земле?

Уж не впрямь ли сказки позабыты,
и бином, вторгаясь в обиход,
сушит наши души?.. Ну, а вы-то
как-никак, а пишущий народ!

Но все больше облака густели,
тихой грустью полнились глаза...
Эх, ребята... Как же вы посмели
алые присвоить паруса?

1958

Вдова

Горькие обиды и печали,
перетолк досужливой молвы...
Не с того ль глаза твои устали,
не поднять ресниц — так тяжелы.

Не с того ль и зеркальца не надо,
красить губы —
боже упаси!
Скажут, привалила бабе радость,
хоть святых из дома выноси.

Ожила. Забыла. Видно, было
для кого лелеять красоту...

Ну, а ты ль всем сердцем не любила?
Ты ль над похоронною не выла,
не ждала?..
В душе похоронила
только на семнадцатом году.

В сотый раз прижмешь к глазам ладони,
спросишь вновь у сердца и ума:
«Ну, а он бы понял?..» Он бы понял,
он бы не обидел задарма.

Был он синеглазый, добрый, русый —
из таких, что все как есть поймет...
Глубоки снега под Старой Руссой,
по кустам метелица метет.

И ни танков нет вокруг, ни пеших,
только пирамидка со звездой...

Дай скажу по праву уцелевших,
дай скажу по праву несгоревших —
не терзай ты сердце маетой.

То сама судьба твоя, не встреча,
жизнь,
она ведь знает, что к чему...
Вскинь ресницы да накинь на плечи
тот платок,
что нравился ему.

Кто тебя ославит и осудит?
Ведь такой к лицу тебе наряд.
Ты во всем права давно... А люди
пусть себе что хочешь говорят.

1958

О рябине

Не страшно умирать тому,
кто вырастил сына и посадил дерево.
Народное

Покоптил, поколесил — и баста,
то ли был, то ль не был человек...
Даже если лет до полтораста
удлинят из жалости твой век —

даровые долгие недели
обернутся горечью одной.
Жалок и излишен в этом деле
метр погонный жизни наставной.

Оживут, воскреснут и восстанут
все слова, поступки и дела...
Женщину ты встретил и оставил,
а вторая — от тебя ушла.

За окном черемуха дымила,
хлопала калитка до утра...
А ведь как она тебя любила!
И добра не ищут от добра.

Видно, несладка́ была судьбина,
коли в ночь из дому увела...
Все хотел ты посадить рябину,
все хотел... Да так и жизнь прошла!

1958

Эхо

Под накатом прочных потолочин,
под настилом ватных одеял
человек безногий
среди ночи,
как ребенок малый, закричал.

Еле-еле боль превозмогая,
в миг какой-то
рот зажал рукой:
«Этак и детей перепугаю,
приключиться ж немочи такой».

Первобытный, дикий, затаенный
вдруг воскрес
и стиснул сердце страх —
словно бы железом раскаленным
жгут большие пальцы на ногах.

Человек отбросил одеяла.
Вспомнил. Ткнулся в стену головой...
В погребке берлинского квартала
кто-то бредил третьей мировой.

1958

Сосны над обрывом

И весь багаж твой — сигарет немного,
и весь пейзаж — во все окно заря...
Она всегда с лукавинкой, дорога,—
перед любым не развернется зря.
Из-за сосенок, промелькнувши живо,
из-за стожка́, с пригорка иль гумна
сначала приглядится к пассажирам
через квадрат вагонного окна.
И тех отметит, кто давно за делом,
и тех — на положенье боковом,
и то стекло, что густо запотело,
и то, что вновь протерто рукавом.
Потом начнет подбрасывать для пробы
то хуторок, то островок берез...
И наконец мосток подкинет, чтобы
была слышнее музыка колес.
Оставив душу черствую в покое,
почнет мелькать...
Потом, замедлив бег,
к тому окошку выдаст вдруг такое,
что не находит места человек.
И долго-долго будет та утеха
обратно звать
и за сердце держать.
И словно бы
всю жизнь затем и ехал,
чтоб над обрывом сосны увидать.

1958

Бочажок

Над водой колдовскою нависли
расплетенные косы ракит.
И лиловый биплан-коромысло
на посадочном листике спит.
Шелохнись только,—
без промедленья
оглушит реактивным щелчком...

Промелькнет на воде отраженье,
проскользнет водомерка шажком.
Якорек незаметно закинет
и застынет,
как будто во сне.

И веселые камушки стынут
вот уж целую вечность на дне.
И, как в зеркале века,
меж старых
опрокинутых свай и столбов —
отраженные уши радаров,
золотые папахи стогов.

1959

У костра

Сергею Наровчатову

А вы хоть раз ловили голавлей?
Да нет, не бреднем — голыми руками...

Бродяги забиваются под камни,
стоят в осоке
и между корней,
давно уж мертвых, каменных и бурых,
что,
словно не надеясь на кусты,
все время вяжут жесткой арматурой
лесную речку
с бережко́м крутым.

— Сперва ты илом дужку обведи,
чтоб муть пошла.
А дальше — ботай, ботай.
Хоть и зазяб, а знай себе работай,
покуда «тхло» всплывет из-под воды.
По сторонам не шастай, не смотри,
в себя гляди — вот так... Чего уж проще!
С хвоста веди под жабры и бери
того,
что попружинистей на ощупь.
Оно, конечно, неприятен ил,
и оплетают водоросли густо.
Но ты не бойся...—
так меня учил
Ванюшка
рыболовному искусству.
Он понял, что я неуч городской,
он понял все
своей душою тонкой.

Я по вихрам его провел рукой —
и стал он из наставника ребенком:
— А где отец-то?
— Нет его у нас.
Похоже, затерялся. Он — острожный...

И хрупкий голосок его угас,
как спичка от руки неосторожной.

Мы натаскали сучьев для костра,
ведро достали
и уху сварили...
Всю ночь рядком лежали до утра
и больше ни о чем не говорили.

1959

Лунная дорожка

Камушки рокочут, как под жерновом,
плещется у ног твоих прилив...
Поднялась дорожка с моря Черного,
крылья облаков посеребрив.
Искоса в глаза твои печальные
парень смотрит так, хоть не дыши,
словно примеряя дали дальние
на предмет земной твоей души.
Невдомек ему, что ты замужняя,
что дочурка есть. Поди, уж спит!
Вечные слова, давно не нужные,
о ночных светилах говорит.
Что моря иссякли там латунные
и ветра не ластятся к горам.
Потому, особо в полнолуние,
нет покоя и земным морям.
Что судьба высокая нам выпала —
к тайнам мирозданья путь открыт.
Уж недаром пятигранник вымпела
так похож на древний русский щит...
Только брось-ка ты о мироздании —
мне ли не понять, как горячо
пышет зноем и на расстоянии
золотое женское плечо.
Парень, парень... Хватит всяких разностей,
я и сам с задором молодым.
Как там — ты, а мы у моря Ясности,
может быть, и вправду посидим!

1959

Вступала молодость в права

Ты — помнишь?.. Море и песок,
и шла волна наискосок,
сбивала с ног в десятый раз
и все подталкивала нас
друг к другу
                    светлой и живой,
упругой солнечной водой.
«Давай уйдем,— сказала ты,—
от колдовской такой воды».

Куда карабкалась тропа?
Висели в небе ястреба,
и пахла так — хоть сердце вынь —
сухая горькая полынь.

Мне руку жгло твое плечо,
срывались с губ твоих слова.
И море было ни при чем —
вступала молодость в права.

1959

Вечность

Она пришла с плантаций рыжих,—
из табаков, где солнце жжет...
Вода следы ее залижет
и отойдет... А через год
другая женщина вот так же
придет на старый волнолом.
Неспешно волосы завяжет
таким же царственным узлом.
Но и она уйдет... Другие
придут сюда — смуглы, как степь.
И косы выкрутят тугие...
А море будет петь и петь.

1959

Ты останешься тут

Ух, и сух там и бел, как мел,
чистотел на песке...
Вы бывали на Ухтохме —
небывалой реке?
Ни пенька, ни проплешины
на поемных лугах.
Держат солнце орешины
на зеленых руках...
Говорят мне, что женщины
на Шексне хороши.
Видно, судят уменьшенно —
в пол-любви, в полдуши.
Без обиды и зависти
слово на сердце взвесь:
если есть где красавицы,
так не где-нибудь — здесь!
Только глянешь ты в синие
с поволокой глаза —
поплывет по России
бирюза, бирюза...
А качнет она станом,
обожжет красотой —
горевать не устанешь
по былиночке той.
Где-то вянут и сохнут,
где-то плачут и ждут
до последнего вздоха...
А ты останешься тут!

1959

Николай Майоров

По вехам горестных дорог
навстречу времени шагать...
Я столько раз давал зарок
порог тот не переступать,
чтоб ран чужих не бередить,
чтоб за помин души не пить.

А вот опять пришел и сел
на сиротливый табурет,
где двадцать лет назад сидел
мой друг... А над столом портрет,
что Коля Шеберстов писал —
как будто знал, предполагал...

О как наивны годы те
в упорстве яростном своем:
«Пусть не в стихе, пусть на холсте,
но мы дойдем...» К кому дойдем?
К любимой? А любимой нет.
И сына нет, и внука нет...

Пускай простят нам этот бред
и на бессмертие замах.
Мы жили жадно в двадцать лет,
врагам и недругам на страх.

А он глядел во все глаза
на мир из света и воды.
В слух уходил — звенит роса,
скрипят на веточках плоды.
Вот чья-то женщина идет.

Наверно, чья-то. Не ничья.
Бровей разлет, руки полет,
любая жилочка поет...

Такая — да еще б ничья!

Не обернулась... Ладно, что ж,
в запасе — жизнь. Ударит час —
полюбят, может быть, и нас,
мир и без этого хорош.

Еще мы шли на эту ложь.
Но он, лукавя, понимал,
что без любви не проживешь,
что сам себя не проведешь —
мир без нее и тускл и мал.

Чего он ждал? Он сам не знал,
но верил — сбудется, придет.
Так ждут дождя в тяжелый год,
знаменья верующий ждет...

Ирина!..
В голосе твоем,
в твоих глазах, узле волос
вдруг все слилось, перевилось.
И не его вина потом,
что все пришлось, да не сбылось...

Он был средь нас добрее всех,
умнее всех, прямее всех,
а в день повесток — в трудный день —
еще к тому ж — смелее всех.
Пусть мне посмеет возразить,
пусть возмутится тот студент,

тот выпускник,
что под Ташкент
уехал маму отвозить,
иль тот, что в Ашхабад удрал.
(Все говорят, стихи писал,
бил стертой рифмой по врагу...)

А мы лежали на снегу.
Погибший
в рифмах
понимал.

1959

Ваня Ганабин

Спор мélок, бездарен, неладен,
ни шатко ни валко идет...
Все жду я: подъедет Ганабин —
и дверь на пяту отмахнет.

Войдет возбужденный, влюбленный,
в ушанке такой рыжизны,
что местные сникнут пижоны...
В своем полушубке дубленом
шагнет, как из финской войны.

— И что вы опять накурили?!
Совсем не жалеете штор.
Хотя бы фрамугу открыли...—
и с ходу, как в воду,— в тот спор.

Долой полушубок, пропахший
сквозным ветерком, деготьком.
И вот уже, как в рукопашном,
вбивает слова кулаком.

Такой не пойдет на попятный,
не сдрейфит, не спишет в разбор...
— Стих-проза?.. Ну что же, занятно.
Твардовский — вот это понятно,
вот это иной разговор!

У вас вон и в городе лужи,
живете вы странно весьма.—
Вздохнет, улыбнется: — А в Юже
четвертые сутки зима!

Такая погодушка в поле —
сама в душу песней летит.
Баян хоть купили бы, что ли,
иль, может, литфонд не велит?

А то бы собрать все тетради
и — в сборник. На будущий год...

Спор мёлок, бездарен, неладен,
ни шатко ни валко идет.

1959

Памяти поэта-моряка Алексея Лебедева

Всю ночь на Балтике штормило.
Из мглы и хмари, как волы,
катились загнанные, в мыле,
свинцово-серые валы.

В подкову Рижского залива
вползали медленно в тоске,
потом вздыхали молчаливо
и затихали на песке.

И словно девочка, сторо́жко,
от всех сует отрешена,
им спины гладила ладошкой
чудная женщина одна.

Глядели вдаль глаза пустые,
как в мир иной, как в забытье.
И ветер трогал негустые
седые волосы ее.

Она опять рассвет встречала,
уже давно не молода.
С соленым ветром повенчала
ее военная беда.

Мы с нею в сговоре негласном
и в переписке с дней войны,
и только к нам доходит ясный
свет из дремучей глубины.

Лежит на днище субмарина
давным-давно, давным-давно.

Недоглядишь — затянет тина
в борту последнее окно.

Лишь только раз подвел локатор —
и оборвал на мине бег...

Ты загляни в иллюминатор
в холодный штурманский отсек.

Вот томик Тихонова. Ценский.
А вот и Соболев в листах...
И черный китель офицерский
на стул наброшен второпях.

Под бокс подстриженный в Кронштадте,
хозяин с вечера в бою.
Знай гонит циркулем по карте
масштабку светлую свою.

Остатки сил своих итожа,
он путь проложит под водой.
На Джека Лондона похожий,
уже навечно молодой.

Рыбешек лоцманская стая
его зовет в обратный путь...
Но как корабль ему оставить,
как счастье женщине вернуть?

1959

* * *

Есть город простой, как рабочий,
бесхитростный, весь на виду.
Я в городе том, между прочим,
родился в двадцатом году.
От века — свои здесь привычки,
и радость своя, и печаль...
Проштрафился — так в электричке
от спроса уедешь едва ль.
Назавтра же, как говорится,
поставят вопрос на ребро.
И тут бы тебе провалиться
сквозь землю, хотя бы в метро.
Но нету метро. И с собранья
с другими бок о бок шагай.
Бодриться — пустое старанье,
пониже глаза опускай.
Узнáют тебя непременно,
поправит не этот, так тот...
Полгорода стало на смену,
полгорода — к семьям идет.
Здесь каждый при правильном деле,
в словах и мечтах от земли...
И все-таки мы проглядели,
чего-то сообща не учли.
Сегодня решает задачку
весь город бесхитростный наш:
как вышло, что дама с собачкой
вписалась в рабочий пейзаж?

1959

Иволга

И так от века — век за веком —
в снегу от ма́кушки до пят
природа спит,
как дети спят,
в постельку бухнувшись с разбега.
Но вновь пахнуло талым снегом,
и на порубке — тьма опят.
Не чудо ль это?
Но опять
мне говорит мой друг суровый:
не современно и не ново,
пора б осмыслить и понять,—
ну что с того, что лист ольховый
ладошку начал расправлять?
Все
даже в прозе это было,
на рифму ложено не раз...
Да, это было. Да не сплыло!
А значит, будет после нас,
вот как вчера. Вот как сейчас,
не ты — другой однажды выйдет
на этот взгорок из болот
и все по-своему увидит,
и все по-своему услышит,
и все по-своему поймет...
И в сотый раз стихи напишет
о том, как иволга поет.

1960

Живые души

Опять всю ночь, как ворожея,
метель крутила и мела.
Через Карельский перешеек
прошла, студена и бела.

И все смешала! Видно, мудро
в свое вникала ремесло...
И сосны высветлило утро,
лиловым пламенем зажгло.

И в тот же миг забронзовели
чуть узловатые стволы.
И в ноги мне, как с карусели,
скатились комья со скалы.

А снег — то рыжий, то лиловый,
то морю синему сродни.
Побудь, постой со мной. Ни слова
за тишиной не оброни.

А слушай только так, как слушать
всего лишь сердцу и дано...
Ведь где-то здесь — живые души
друзей, утраченных давно.

1960

Высота

— Высоту надо взять!.. И — ни шагу назад.
Понимаешь?.. Любою ценой. Непременно...—
завещал мне
подрезанный пулей комбат,
мой партийный наставник годины военной.

Я стихов о комбате своем не писал —
рассказать —
значит вправду с погибшим проститься...
Батальон высоту «370» взял.
Но со смертью комбата не мне примириться.

Он живой для меня, понимаете?.. С ним
я могу разговаривать просто, по-свойски.
Как порой ни с одним самым-самым живым,
если он обтекаемо-скользкий.

Жизнь железом учила меня неспроста.
Потому и твержу, если сетует кто-то:
— Ну и что высота?! Высота, да не та,—
здесь совсем не стреляют, здесь просто работа.

Приналяг, подтянись да покрепче берись.
Додерись, коль не трусом пришел с поля брани...
Ты сумеешь, ты выдюжишь, ты — коммунист,
а не просто с партийным билетом в кармане.

1960

Карельский перешеек

От души, озорно и весело,
целый день метель куролесила.
Горячо мне от снежной замяти,
не лыжнею иду — по памяти.
Мне на плечи метель
присаживается,
закрутить карусель
отваживается.
Только где ж ей со мною справиться:
пусть старается,
если нравится.
И по холоду, и по голоду,
в «цейссах» снайперского ружья
здесь ходила когда-то молодость
необстрелянная моя.
Я о том сам себе рассказываю,
на высотку,
на дот показываю.
В расползающуюся книжицу
заношу пометы ладком
и кажусь промелькнувшей лыжнице
детективом иль чудаком.
Знать, солдату и в снежной замяти
не уйти от суровой памяти.

1960

Но ведь поэтом не был бы поэт

Вот надолбы в пять шахматных рядов.
Здесь наше захлебнулось наступленье.
О том не зная, Слава Кузнецов
по той войне дает нам поясненья.

Он — ленинградец. Добровольный гид,
и с нами в путь пустился раным-рано.
Он с придыханьем, жарко говорит,
вот-вот и сам сойдет за ветерана.

И я ему поддакивать горазд,
и все сильней его подогреваю.
И как бы ненароком только раз
его рассказ вопросом прерываю:

— А сколько вам в ту пору было лет?

И друг наш розовеет от смущенья.
Но ведь поэтом не был бы поэт,
когда бы мимо горестных замет
прошел и не имел к ним отношенья!

1960

Март

Где б ни гостил,
а к этой дате —
домой, домой, как люди все...
Вновь за морзянку взялся дятел —
стучит
во всей своей красе.
Уже влетел мальчишка в лужу,
не пожалев своих сапог...

Вновь ясной, светлой сделал душу
лиловый мартовский снежок.

И стало тесно человеку
средь четырех казенных стен
на уровне
дождя и снега
и телевизорных антенн.

1960

Черемуха

Она ударила, как обухом,
по городской моей душе...

Совсем отвык я от черемухи,
как пахнет —
позабыл уже.
Всю зиму жил, как у экватора,
средь пальм,
спеленатых хитро...

Тугая лента эскалатора
в ту ночь несла меня в метро.
Теснясь,
на лесенки наматывалась
людей последняя волна
и у подножья где-то скатывалась
и растекалась
вдруг вольна.

Совсем обычная история.
Я б тоже в поезде исчез,
когда бы встречной траекторией
не мчалось чудо из чудес.

В живой листве, как кипень, белое,
оно летело, застя свет...
Едва ль не Подмосковье целое
вязало добрый тот букет!

И не сама ль весна бессонная
сошла под землю вместе с ним,

чтоб до утра
жерло бетонное
заклинить запахом лесным?

На бук зеркальный
ветви длинные
склонились в трепетной росе,
и люди к поручню прихлынули,
к ним потянулись сразу все.

Всплеснулись сумочки и сеточки
и чье-то рыжее кашне.
И кто-то крикнул:
— Бросьте веточку!
И кто-то выдохнул:
— И мне...

И началось!..
Как помощь скорую,
дарил военный радость ту —
необходимую, которую
хватали люди на лету.

Дарил без выбора, без промаха,
и всем —
по сердцу, по душе...
Он знал, как грустно без черемухи
весной на пятом этаже.

1960

Мастер

В. А. Луговскому

Оно не вдруг приходит, мастерство,—
в пути, в исканьях ставится и крепнет...
Оступишься не раз, пока на гребне
крутой волны вдруг ощутишь его.

Но высота уже взята. А дело,
что отбивалось, мучило, не шло,
вдруг в кровь вошло и к сердцу прикипело,
да так пошло, что и в руках запело,
как у гребца в руках поет весло.

Но ты еще не мастер! Мастер — тот,
кто, вечно в мастерство свое не веря,
передает высоты подмастерьям,
а сам последний перевал берет,
того и сам не зная... Лишь спустя
какой-то срок, суммируя высоты,
о нем припомнит и напишет кто-то:
«То мастер был. Он не щадил себя,
он рано понял смысл своей работы».

1960

4 Заказ 404

В свой срок

Слышишь — гуси летят.
В. Луговской

Все принимаю на веку,
что к солнцу тянется и жмется.
Пока залетное ку-ку
в лесу зеленом раздается.
Пока в ручьях вода поет,
трава цветет,
роса дымится.
И шмель
о хмель
ладошки трет,
и пахнет медом медуница.

Не положу я на весы,
не сопоставлю
звон капели
и басовитый вздох грозы
и буйство белое метели.
Друзей живые голоса,
врагов язвительные стрелы.
Твои весенние глаза,
какими в жизнь мою глядели.

Все принимаю так,
как есть,
лишь только ты была бы рядом.
Суметь бы счастье перенесть,
а горе —
встретим, как и надо.
Мне с детства дороги до слез
костры осин
в осенней сини,

огонь рябин, пожар берез —
тот,
из конца в конец России.
Родные,
милые края,
где я однажды в путь свой вышел.
В свой срок
когда-нибудь и я
гусей пролетных не услышу.

1960

Каблуки

Где-то в августе, в матовой лунности
сонной галькой хрустят каблуки.

С неосознанной грацией юности
ты вошла в мою жизнь и в стихи.
Может, спелось бы всё и не на́долго
и забылось —
до срока иль в срок.

Только буря ударила в надолбы,
громыхнул, да и смолк котелок.
Опалила метельною стужею
та зима —
на второй же версте.

(До чего же была неуклюжею
образца той поры СВТ[1]!)

То у самого уха, то около,
то в сосновых стволах наобум
разрывались и в лапнике щелкали
белофинские пули «дум-дум».
Уходили друзья. И от жалости
каменел я на кромке пурги...

Но далеко-далеко, как в августе,
все шуршали твои каблуки.

Я вернуться живым не загадывал,
не с того ли

---

[1] **СВТ — самозарядная винтовка.**

и выпало мне
и по малой пройти — пусть залатанным —
и по самой великой войне?
От Молдовы на Тарг и Поронино,
вплоть до Праги дойти довелось...
Все, что думалось мне,—
с чувством Родины
в подсознанье и сердце слилось.

Вот и август опять.
И по тропочке
далеко-далеко от беды
ты бежишь, застываешь на кромочке
сонных камушков, тихой воды.
Вот плывешь ты
вся в матовой лунности,
вот и вешки уже позади...
Только мне
до друзей своей юности —
не достать,
не доплыть,
не дойти.

1960

Только бы в душе не отзвучало

Все немного странно поначалу,
как бы слишком празднично, светло...
Может, потому и зазвучало
в сердце то, что мнилось, что прошло.
Видно, правда, не умеют люди
по дорогам памяти ходить...
Сядь на чурку, батареец Дудин,
отвали пехоте закурить.
А теперь испробуй нашей пищи —
то ли пушкарям кладут в котлы?
Страх глядеть — остались лишь глазищи,
только зубы сахарно-белы.
Скулы обтянулися. А губы —
в трещинах. Шинель торчит колом...
— Где Олег?
— А вон он, бачишь,— рубит
на торце буханку топором.
— Ну, а из Иванова что пишут?
Да и, к слову, как-то там она...
— А она...— И разговор все тише,
и в землянку входит тишина.
Шелестит поземка по накату.
Каменной усталостью устав,
спят вповалку мальчики-солдаты,
вязаных подшлемников не сняв...
Ну, а то, что странно поначалу —
не беда. Ведь в памяти светло!
Только бы в душе не отзвучало,
только бы быльем не поросло.

1960

Волокуша

*Бывшему командиру лыжного батальона
В. М. Григорьеву*

На лыжах я ходил в тридцать девятом.
Январь и весь февраль — в сороковом...
Перевязали раны мне ребята
от маскхалата мерзлым рукавом.

Спасибо вам, ребята!.. Я навек
обязан вам и тем, что синий снег
сегодня вновь кидается под лыжи.
Вон костерок в снегу воронку выжег,
вон елочка стоит. Ее я вижу!
Снегирь свистит... И я, бродягу, слышу,
хоть он и в четверть голоса поет.

Спасибо вам за тот суровый год,
когда нам стужа обжигала души,
когда от блажи тут костров не жгли.
Ведь двадцать лет назад на волокуше
меня вот здесь вы позабыть могли.

1960

Первые слезы

По прокосу — от людей да к мельнице
и — в ромашки на траву ничком...
Мотылек залетный, именинница
утирает слезы кулачком.

А они, крупнущие, знай падают,
на ресницах виснут и блестят.
Падают,
девичье сердце радуют,
и хотят,
да глаз не замутят.

Поднялась, щекой прижалась к дереву —
к голубой душе берестяной.
— Что ж это такое в самом деле я?! —
повела, тряхнула головой.

Расхлестнулись косы, стали поясом,
обтянули плечи на лету...

Раз увидишь —
будет вечно боязно
на земле за эту красоту.

1961

Юность

Не солгу, не прикинусь, не струшу,
не скажу, что и я молодой.
Но война обдавала мне душу
и живою и мертвой водой,
и окопной, и так — дождевою,
что за шиворот льет день-деньской...
И осталась душа молодою,
и досталась навек вот такою —
все бы в спор,
все бы в бой,
в непокой.
Все бродить бы от края до края
по степям,
по лугам,
по лесам.
В обыденных вещах открывая
для любимых людей
чудеса.
Чу — ресничками машет ромашка,
чу —
звенит колокольчик лесной...
Юность, юность! Душа нараспашку.
Ты еще не в расчете со мной.

1961

Березка

Люблю,
когда прозрачно-синий —
уже не снег, еще не лед —
березку трепетную
иней
в убор студеный уберет.

Она застынет, цепенея,
едва жива...
Но посмотри —
как покраснели перед нею
и сесть не смели снегири!

1961

* * *

Она светла, такая замять,
она и крутит не всерьез...
Тулуп внакидку бы да в сани,
а там —
на Сахтыш или в Плес.

Ужель и правда, мы отвыкли
вдруг что-то сделать сгоряча?
Ужель и правда,
как прилипли
к обшивке пыльной «Москвича»?

Позаслонялись от метелей
слепым оконцем ветровым.
И зимы мимо пролетели,
как бы уступлены другим.

На карандаш возьмет их кто-то
и спросит первого тебя:
— Кого порадовал работой?
— Почто обкрадывал себя?

1961

Две судьбы

Летел снаряд, шуршал снаряд.
Упал солдат, попал в санбат.
Пришел домой без ног солдат,
пришел домой — а сам не рад.
А жизнь идет за годом год,
по сердцу бьет, свое берет...
На все лады скворец поет.
На костылях солдат идет.
Пылит гроза, гремит гроза
на все басы и голоса.
В след каблучков и в след подошв
костылики вгоняет дождь.
Остановились каблучки
у телефонной будочки.
Двух человек нашла гроза,
на целый век свела гроза
на счастье неминучее,
и значит — не по случаю.
А дождь кипит, гремит гроза.
Стоят они — глаза в глаза.
И больше нет для тех людей
ни каблуков, ни костылей.
Есть две судьбы. Да две души...
Садись в тиши, роман пиши.

1961

Черные снега

Мы стольких потеряли в том походе,
присыпали и глиной и песком...
Теперь друзья не гибнут, а уходят —
шажком.
Кто летним днем, кто зимним, кто осенним,
а кто — в канун весенних холодов.
Под тяжестью контузий и ранений,
в солдатской славе ратных орденов.
Мы на плацдармах редко примечали,
как втаивали в черные снега,
когда к ногам портянки примерзали
и легкие хрипели, как меха.
Не до того, не до себя нам было
на разделившем землю рубеже.
Четыре года смерть наотмашь била —
и так, и сяк, и эдак — по душе.
Вот и теперь всё больше над пехотой
размахивает ржавым тесаком...
Недолюбив, друзья мои уходят.
А ласточки кричат над большаком.
А ласточки горюют — не успели
вернуться в срок в родимые края...
И серые солдатские шинели
укладывают в скатки сыновья.

1961

Каракум-река

Не Амур, не Аму,
не река Ока —
завивает гребешки
Каракум-река.

Задыхается
в жарком лепете,
в ней купаются
гуси-лебеди...

Ты любимый мой,
нелюдимый мой,
неспокойно мне
с Каракум-рекой.

В ней качаются
восемь синих звезд,
да от них до тебя —
восемь сотен верст.

1961

Вожак

Весь как из струн, весь как из небылицы,
из сказки весь,
лишь плотью от земли...
И заходили нервно кобылицы,
ударили в копыта у Нерли.

И зов его и храп его втянули,
подвластные инстинкту одному.
Всем табуном
на голос повернули.
А эта не ответила ему!

А эта горячей всех и моложе,
черным-черна,
лишь гривою бела.
И ходуном по крупу ходит кожа,
и губы ей не рвали удила.

Откуда эта выдержка и гордость,
когда и зовом предков не проймешь?

Табун летел.
И резал ветер мордой
четвероногий черногривый вождь.
Он головой забрасывал то вправо,
то влево
выгибался на скаку.
И не нужней, чем слава иль отрава,
была ему отава на лугу.

Он стлался, выворачивая плечи,
удар копыт врубая в общий топ...

И выхлестнулись кони в междуречье
из горловины поймы, как потоп.

На все лады зацокали по гатям.
А он
в последний раз копыта вбил,
и вывернулся в «свечке» на откате,
и направленье лёта изменил.

И вновь заржал.
И оборвал.
И снова
заржал, аллюр меняя на намет...
Поди слови, останови такого —
жгуты порвет и ясли разнесет!

По замкнутой параболе, по кругу
стремит его
сплетенье мышц и жил...
А он смиренно подошел к подруге
и морду ей на шею положил.

1962

Последний снег

Не помогла метель крутая,
был снег непрочен, как обман.
Он так неотвратимо таял,
что стлался по лесу туман.

В штыки ударили капели,
сбивая каплями тепла
последний снег.
И отпотели
вдруг сосны.
Верба расцвела!

Бела, красна
комочком каждым,
живого трепета полна,
стоит и ловит ветер влажный,
земною ясностью ясна...

Не так ли вот,
невесть откуда,
как мимолетная гроза,
ударит по сердцу остуда,
чужими сделает глаза,

сон заберет, слова засушит,
узлом завяжет ночь и день...
Ты не тревожь ее.
И душу
случайным словом не задень.

Они придут, они, что росы, —
те слезы

к страдной той поре
с ресниц обрушатся.
Так косы
роняют росы на заре.

И вновь глаза на мир открыты,
светлы и радужны до дна.
Душа, как золото, промыта,
земною ясностью ясна...

Куда отхлынула остуда,
в какой бушует стороне?
Она пришла бог весть откуда —
как снег последний по весне.

1962

В лодке

Сорок лет, сорок зим, сорок весен,
а тебе — двадцать весен и зим...
Не раскачивай шлюпку. От весел
отойди.
Посидим. Помолчим.

Погрустим над вечерней водою,
что о чем-то журчит горячо.
Не на радость
твое молодое
белый свет заслонило плечо.

Прикажи — и причалю у прясел,
и тебя уведу от беды.
В двадцать весен
бывает опасен
одуряющий лепет воды.

Всё устроится, стихнет под осень,
не поймешь и сама — почему...
Что ж ты медлишь по-женски у весел?
Пощади. Пересядь на корму.

1963

Кайсыну Кулиеву

Ни о чем не загадывали
парни рисковые.
Парашюты укладывали,
финки в ножны засовывали.

Погибали от дома
в неизвестной дали...
Но и жить по-иному
в годы те не могли.

Лишь была б только родина
да цвела она — родина.
Да была бы верна
от врагов загородина...

Вы скажите мне, горы,
как пробиться на Нальчик?
Где тот самый, который —
и поэт и десантник?
Не сегодня он начал,
смирится не скоро —
для кого и к досаде,
кому и на горе,
всем бескрылым — на зависть,
друзьям на добро.
Тридцать вёсен он ставит
слова на ребро.

Он немножко бравирует
песенным даром —
не поймите навыворот,
и такое недаром,—

в жизни всякое было,
не быльем поросло.
Било с фронта и с тыла,
прямо в душу мело.

Похоронную тенькала
птаха-синица...
Было небо над Тейковом —
извели на петлицы.

Ни о чем не загадывали
парни рисковые.
Парашюты укладывали,
финки в ножны засовывали.

1963

Ленин в Будапеште

Крутолобый, в будничной одежде,
по погоде — с кепкою в руке,
словно побродить по Будапешту
вышел он в то утро налегке.

А его увидели. Узнали.
Подхватили на руки толпой.
И остался он на пьедестале —
человечный, близкий и простой.

И иной мне радости не надо —
одного на тыщи лет хочу —
чтоб всегда на площади Парадов,
как в Москве, дышалось Ильичу.

1964

Бундесвер

Больше рвения! И равнение —
на погост,
на могильный сквер...

Сорок пятого года рождения
загоняют ребят в бундесвер.

Кто там хныкает? Кто там хмыкает?
Мыслить — к дьяволу, черт возьми!..
За Германию за великую
счастье высшее — лечь костьми.

Левой! Мальчики-истуканчики,
ружья на руку и — бегом...
Как болванчики с барабанчиком
рубят мальчики сапогом.

Как приказано, хлещет фразами
обер, хриплый, как граммофон:
вам ли сказано, кем подмазана
сковородка «Бонн — Пентагон»!

Всем по ордену дам за Одером —
там, где сказочная земля. .
...Неспокойно мне,
что по оберу
промахнулся однажды я!

1963

О мертвой точке

Мне до́рог — близкий
                                        и далекий —
и рокот шин по мостовой,
и грохот рельсовой дороги,
и всхлип тропинки луговой;
напев гармоники раздольный
и дробный выщелк соловья,
державный ход
                                    пилы продольной
и свист упругого косья,
и хруст холста, что под картину
на рейки ладят второпях;
и кисловатый запах глины,
такой податливой в руках,
и росчерк молнии полночной,
как штрих вдоль
                                        аспидной доски,—
все любо...
                              Кроме мертвой точки
в конце рифмованной строки.

1964

Палех

И в чести бывал, и в опале,
пропивал и кресты и варежки
богомольный,
крамольный Палех
на былинной
студеной
Палешке.

Щеголял в рубахах посконных
из некрашеной конопли.
Озорные
писал
иконы
и на ветер
бросал
рубли.

Рисовал — не лики, а лица,
и смотрели с любой доски
хитроватые мужики,
богоматери и блудницы...

Пригодится —
сойдет молиться,
ну а нет —
покрывать горшки!
И в Ростове Великом,
и в Шуе
брал подряды
на роспись
стен.

Если бога ты сам рисуешь —
для тебя он
не выше колен.

И как боги в цене упали,
доживая
своё
уже́,—
щедро выхлестнул душу Палех
на пластины папье-маше.

В нем бродила
такая сила,
да и буйствует
не со вчера...
Не пишите о нас «любо-мило»,
то ли выдадим на-гора.

1965

Мост

Памяти конструктора космических кораблей
академика С. П. Королева

«Лунник-9» на Луне,
как на Волге буй,
спит на пемзовой волне
в Океане Бурь.

Хлещет солнышко в бока,
стынет на груди
электронная рука
с камешком в горсти.

Все земные голоса
отлетели прочь.
Перископные глаза
захлестнула
ночь.

Так в Карпатах умирал
на земле чужой,
взяв последний перевал,
друг мой фронтовой...

Снится «Луннику»
Земля,
по орбите бег...
Легший в Землю
у Кремля
русский человек.

Он душевен был
и прост,

по-саперски прост,
жизнь прошедший в полный рост,
подаривший людям мост
от Земли
до звезд.

1965

* * *

Наверно, так и надо... Но едва ли.
Дня не прожить мальчишкам без затей!
Когда мое бы детство обокрали,—
что было б дальше с юностью моей?
Когда она со смертью по соседству
не находила безопасных мест?
Когда висела на «подручных средствах»
и пулеметы вынесла за Днестр...
...Отгородили в речке загородкой,
как для утят, купальню метров в пять.
Четыре няньки. Докторша в колготках.
И градусник, чтоб воду замерять.
Ни прыгнуть. Ни нырнуть. Ни разминуться.
Чуть что: «Назад!» —
взят каждый на учет...
Из загородки мальчики вернутся.
В час трудный —
кто научит и спасет?
Ведь где-то есть и прорвы, и стремнины,
и громоздятся льдины на дыбы.
А мужество есть качество мужчины
идти навстречу вызову судьбы.
Не дай господь, но ежели случится
когда-нибудь услышать им: «В ружьё!» —
тут градусник едва ли пригодится,
всего скорее — мужество мое.

1965

Друзьям-автомобилистам

Андрею и двум Борисам

До кочевий и до странствий жадный,
в ритме пешеходных скоростей
я как бы крестьянин безлошадный
средь своих товарищей-друзей.

Не скажу, лукавя, что нетрудно
добираться мне до синих рек.
Но любой начальник из ОРУДа
для меня всего лишь человек.

Жму, когда душа того желает,
торможу — где сердце позовет.
И любая гривка межевая
за собою вдаль меня ведет.

Оттого на жизнь я не в обиде,
что в глазах ликует
мир цветной:
всё, что к нам приходит в общем виде,
предстает в деталях предо мной.

Но порой прихлынет вдруг такое,
что за скорость
частности отдашь,
чтоб в одно мелькание рябое
в перспективе сдвинулся пейзаж

и на миг предстали в общем виде
рощи,
взгорки,
ручеек с мостком...

Говорю ребятам:
— Прокатите,
прокатите, что ли, с ветерком.

Мчаться на пределе — тоже диво,
от деталей к общему скользя...
Ну а что положено пройти вам,—
все-таки оттопайте, друзья.

1965

Вибрация

Допотопный климат был стабилен,
в Верхоянске мамонты трубили,
строили атланты города...
По местам — и суша и вода.

Там, где ныне буйствуют метели,
царственно чадили орхидеи,
женщины не кутались в меха.
Одевались словно в Коктебеле —
еле-еле, только от греха.

Над землей — студеных звезд корыто,
катятся планеты по орбитам,
допотопным стронцием пыля.
Но уже летит, летит комета,
атомным распадом разогрета,—
содрогнулась, вскрикнула Земля.

Полюса качнулись и сместились,
небеса на землю опустились,
рявкнули вулканы в сотни горл.
Как стена, вся в огненных нахлестах,
шла волна невиданного роста,
с грохотом сбивая шапки с гор.

Рухнула, смешала все обиды,
на куски материки разбиты,
а навстречу — новая волна...
Вот тогда-то и ушла из вида,
под водою скрылась Атлантида,
словно отмель,— целая страна!

Мертвой атлантической грядою
Атлантида снится мне порою,
поросли кораллами леса...
Но и через толщу океана
до меня, неведомо и странно,
тихие доходят голоса.

Ручейки журчат, а нет покоя,
ласточки кричат, но нет покоя.
Как же так?.. Ведь время истекло!
Это так далеко, так глубоко,
с правдой не в ладу... А в рамах окон
тоненько вибрирует стекло.

1965

Щит

Кто кого перемолчит,
кто кого перескучает —
ненадежный этот щит,
в общем, слабо защищает.

Не снести мне этот груз,
под ногою лед так тонок.
Не от слабости сдаюсь,
о тебе твержу спросонок.

Письма мысленно пишу,
палец в диск кладу, как в рану...
Это я тебе дышу
в помертвевшую мембрану.

1965

Казань ночью

Ночью ты как книга, что раскрыта...
Улочка любая, как строка,
с буквицы неоновой к петиту
катится до точки-огонька.

А дома — как огненные соты,
вздохом ночи слитые в одно.
В сонме этажей за поворотом
то мигнет, то пропадет окно.

Я его из тысячи узнаю,
от других — чрез годы отличу.
Почему ж
к последнему трамваю
не лечу и в двери не стучу?

Огонек строительного крана
крановщик кладет на разворот...
Обещал я ей: звезду достану.
Не достал. А этот вот — несет.

Может быть, добрей он?
Нет, моложе!
На посулы молодость щедра...
Спит Казань.
Любовь заснуть не может —
свет в окне, как совесть. До утра.

1966

Дочери

Вокруг кремля — моя земля, а вдоль земли
мои кремли.
Народное

Я тебя в покое не оставлю,
в Коктебель курсовку не куплю,
если не представлю Ярославлю,
в Суздаль и Владимир не влюблю.
Чтоб душа навечно заскучала,
зáперво
тянулась лишь туда,
где и начиналась изначала
наша красота и доброта.
Совестливость наша без предела,
ухарство славянское и грусть...
Здесь и бушевала и терпела,
каялась и голосила Русь.
На врага и вора поднималась
не отсюда ль отчая земля?
Здесь сама история вписалась
в камни белопенного кремля.
Все забыть, вновь пережить и вспомнить,
напрягая память, как струну.
Шумный твой транзисторный приемник
сунуть в набежавшую волну...
Ну а если вновь на южный берег
позовет синица иль журавль,
триста верст — не крюк и не потеря,
если по дороге Ярославль.

1966

Речка Шижегда

Константину Яковлеву

То — лесистая,
травянистая,
то сквозная
голубая,
бочажистая.

То бежит, журчит
между трав, дубрав,
то опять молчит,
в рот воды набрав.

А возьмет у переката
дудочку —
заструится меж лопаток
луночка.

На ракитах соловьи
закачаются.
Им бы петь,
а они
задыхаются.

Ни коленец не хватает,
ни горлышка!
То ли музыкой прошита
до донышка,
то ль набита
грампластинками
Шижегда,
золотыми
кувшинками
вышита.

По лужку
за водой
за тишайшею,
как в бреду,
я бреду:
что же дальше, а?..

Где колки в тростниках,
чья мелодия?
Чья душа, чья рука,
чья рапсодия?

Я — всего человек,
а не выжига.
Не гляди из-под век,
речка Шижегда.

Речка Шижегда,
речка Шижегда...
То ли пан,
то ль пропал,
то ли выжил я.

1967

„Корсажик“

А в партию я подавал в окопах,
когда с Чуйковым к Волге был прижат...
Единогласно принят: — Только в оба
гляди теперь, не подведи, сержант!..
А ленты пулеметные промерзли —
еще в понтоне затекла вода:
покрепче спирта вдарили морозы
с четвертого на пятое тогда.
Но думал я отнюдь не о расплате,
бросая командирское жилье,—
а где б ловчее накрутить под ватник
те ленты — на нательное белье...
А немец бьет. И до чего же кучно!
Полутемно, а высмотрел меня.
Привстать нельзя. А лежа — несподручно.
И все ж в воронке «зарядился» я.
Все тело жжет, не помогла б и стопка,
деревенеет левая рука...
«Ну, автомат — на шею... А коробки?
Да россыпью не меньше полмешка.
Зато уж не случится «перекоса»
и этой нервотрепки, как вчера...»
Не помню, как дополз я до откоса,
где поджидали смены номера.
...Когда порой дебелый или ражий
меня затеет хлопнуть по плечу,
я шкурой ощущаю тот «корсажик»
и очень снисходительно молчу.

1967

А у меня друзей еще немало

А у меня друзей еще немало —
из тех, что не клонились под огнем.
Кого война мотала, испытала
на стойкость,
на разрыв
и на излом.

Мне с каждым годом
дружба их дороже,
все у́же круг
и все тесней она...
И недругов
по гроб мне хватит тоже,
но жизнь без них была бы не полна.

1967

Сорок сороков

В свой последний час косу направлю
да пройдусь прокосом широко.
Задыхаясь, рухну в разнотравье,
отойду под сорок сороков.
Грянут колокольцы луговые
голубую песенку свою.
— Взводный, ты ли?.. — спросят неживые,
на Карпатах павшие в бою.

Я морщины пятерней разглажу:
вот он я — и в профиль и анфас...
Как при жизни, каждого уважу
горькою махоркой про запас.

— Покоптил ты небушко, однако,—
скажет мне Китаев: — До седин!
Если б не последняя атака,
всласть и я бы пожил до морщин...
А уж я и рад, что он признáет,
русой покачает головой.
Давняя отметина сквозная —
на груди как орден боевой.

Иванов, Семенов, Катасонов,
Милославов Саша, Потебня —
весь мой взвод повыбитый
бессонно,
вопрошая, смотрит на меня:
— Как там жизнь и кто на карауле?..

Ну а что скажу я им, когда
в интервале
выстрела и пули
жизнь для них застыла навсегда.

Ошарашить правдой не посмею —
не поймут они про саркофаг.
Подтвердишь,
что нету в мавзолее,
тут они и встанут:
— Как же так?!

— Жив-здоров ли твой однофамилец?
— Крут был маршал, но и справедлив.
— Для солдат поилец и кормилец.
— Родины спаситель...

— Жив-то жив...—
и опять я, словно виноватый,
за научный скроюсь оборот:
все по диалектике, ребята,
на земле на матушке идет.

Для живых все так же всходит солнце
в разнотравье речек и лугов.
Голубые плачут колокольцы
по погибшим
в сорок сороков.

1968

Ткачихи

Отплясал негромко День Победы
в «малогабаритке» у ткачих...
Чуть поприглушились вдовьи беды
с горькой полбутылки на троих.

В окна бьет черемуховой вьюгой
духовито, знобко и свежо...
Вот еще бы дочку или внука,—
было бы и вовсе хорошо.
Тут уж не до праздничных резонов —
не скреблось бы горе на душе.
Скоро вот по новому закону
можно и на пенсию уже...
С мимолетным счастьем повстречались,
а забыть — не хватит жизни всей!
В сорок первом в мае повлюблялись,
а в июне отдали мужей.
Ждали... А другие вот рожали
от солдат... И нечего судить!
Ладно, что достоинство держали...
— Эх, да что об этом говорить.
Так они сидят, лицом в ладони,
от шести часов и до шести.
Вы потише за окном, гармони,
дайте людям душу отвести.

1968

Держиветочка

Держидерево — не поверие,
в Черноморье оно растет.
Через заросли, через тернии
человек пойдет — пропадет.

И приманчива и обманчива
зелень трепетного листа.
Одурманивает, укачивает
духота его, красота.

Не отмолишься, не открестишься,
так и сгинешь — шальным-шальной...
Легкокрылая неровесница,
что ж наделала ты со мной?

Не писать, не спать,
не дышать, не петь
и не вскинуть рук —
                    тяжелы.
Стали плечи твои золоты, как медь,
как два солнца, груди белы.

А когда к нам с гор подошла гроза,
бросив молнией в провода,
опрокинулось небо в твои глаза
и осталось в них навсегда.

С горя горького ли, с отрады ли,
но, тебя разглядев, в прибой
даже камни, оживши, падали
с Карадага вниз головой.

Ялик бился у скал как щепочка,
на причале твоей души...
Синеглазая держиветочка,
ты покрепче меня держи!

Ты люби меня, изведи меня,
в сотый раз меня обмани.
Только женщину с тем же именем
перед смертью моей верни.

1968

Завалило Иваново снегом

Григорию Коновалову

Как живется под северным небом?..
Хорошо!.. Тяжело и светло.
Завалило Иваново снегом
белым-белым. До крыш замело.

Подступили сугробы к перрону
и застыли у жарких колес.
Оступись же с подножки вагона
в тишину этих белых берез.

Всю неделю снега парусили,
сто метелей летели в обгон...
Если есть где-то сердце России,
то стучит оно здесь испокон!

1968

Не только время

Не только время нам сечет
виски и щеки.
Пошла и Райвола в зачет,
и Териоки.

И стынь Карпат, и плеши Татр,
Дунаец Белый
не в студиях
                    входили в кадр —
сквозь дрожь прицела.

Враги держали и меня
пять лет на «мушке»,
хоть знали:
                    вся моя вина —
звезда на смушке.

Но мне как мертвому везло,
я бил их лежа...
Теперь быльем все поросло,
но все же, все же

в прямой наводке совмещать
прицел и «мушку» —
не через горы посылать
снаряд из пушки.

1968

Мертвый сезон

Не потрафилось летом нынешним
повстречаться с твоей волной.
Не скупись на морозы, Кинешма,—
хоть зимой поделись со мной!..

Горько стало, что не застал я
изначального ледостава —
все затихло, и не вчера...
В доках вытоптано и сыро,
как в невытопленных квартирах.
Сушат кили даже буксиры,
вездеходики-катера.

В цепи туго бортами вжались —
как друг с другом и не прощались,
а ведь каждый плакал в гудок!

А устроились всяк в свой док —
и молчок. Гудок на замок.

Вот и будут теперь до финиша
отчужденно молчать
сто дней...
Горевать не резон бы, Кинешма,—
просто мёртвый сезон...
Да, видишь ли,
у людей всё еще сложней.

1968

Отец

В том давнем марте в силе был отец,
с утра тесал вершинник на стропила...
— Давай подбросим матери дровец?
Вот молодец!.. Нарежем любо-мило.

Мы строили тогда свой новый дом.
С большим трудом. Всего нам не хватало,
но в старых «клетках» дров было немало,
да и щепа топорщилась «костром»

Щепа нам даже снилась, как и дом:
а вдруг пожар?.. Но, сбросив кацавейку,
с утра отец вновь тяпал топором
и снова гнал щепу, как по линейке.

Короче — печку было чем топить,
Отец лукавил хитростью святою.
Чтоб с ним побыть, в работе равным быть,
летел я за двуручною пилою.

Брал за «рога» и ладил «козелки»,
подтаскивал и ставил шпульный ящик.
— Левей, левее!.. Этак не с руки.
А так — как раз. Ты — пильщик настоящий...

Отец смотрел с улыбкой на меня,
поскольку был я чуть побольше зайца.
— Вот любо-мило! Стал отцу ровня́.
Начнем помалу. Прибери-ка пальцы...

В коре — слегка, все жарче — к болоне
в конфликт входило дерево с металлом.

И невдомек в ту пору было мне,
что взад-вперед пила меня таскала!

Я мог «работать» долго. Без конца
следя с восторгом, как султаном пылким
текли на территорию отца,
к опоркам сбитым, теплые опилки.

Они ложились кучно. Так зерно
сбивается по ветру на «ладони»...
Само собою двигалось бревно —
потом-то механизм я этот понял.

— Задохся?.. Ладно. Принеси колун!
Да прихвати и колунишко старый...—
И сразу ставил плашку на валун,
что врыт был в землю для красы удара.

Он, как орехи, щелкал кругляши,
он как священнодействовал — работал.
По торцу с хеком тюкал от души,
как будто отбивался от заботы.

А уж забот хватало. Будь здоров!
Была б картошка. Тут уж не до булок:
своих, единокровных, восемь ртов,
да всех обуть — так восемь пар обувок...

А он стучал со смаком, как играл,
привставши ловко на одно колено.
А я считал, поскольку разгадал
закономерность пятого полена.

Сейчас он скажет: — Ой, не по душе
мне эта плашка!.. Подсоби, сынишка...—
И я, полуразбитое уже,
доделывал полено колунишком.

Потом он руки-крюки выставлял,
подмигивал и улыбался кротко.
И я отца, как сани, нагружал
смолистым колотьем до подбородка.

Он нес дрова к аршинам дров других,
к ограде, где сияла елка-свечка.
А из старья прихватывал сухих —
на истопливо, матери для печки.

И солидарно гладил ус, когда
меня при всех за помощь мать хвалила..
Не это ль «разделение труда»
меня по гроб к работе приучило?

Ты мудр, отец, без скидки никакой,
всю жизнь платя бессонными ночами
за две зимы церковноприходской,
которые зияли за плечами...

Ты добр, отец!.. Спасибо, что впрягал
во все дела — и не скорбел нимало,—
чтоб хоть немного жизнь я понимал,
хоть что-нибудь умел-таки к финалу.

1968

Это не старо

Есть зло, есть добро,
как моря и реки...
Знаешь, это не старо
и в двадцатом веке.

Что ж ты смотришь на меня
прогрессивным взглядом?
В пользе квантов и огня
убеждать не надо.

Я и сам разберусь,
с кем дружить,
                    с кем драться...
В диалектике чувств —
вот бы разобраться.

1968

Стихи на парусе

Сергею Никитину

Золотыми кувшинками вышита,
размахнула ковры-берега
соловьиная
милая Шижегда,—
на Ковров повернула река.

Мне бы смолки добыть неразбрызганной
да коры бы сосновой кусок.
Из блокнотной бумаги исписанной
для тебя сотворю парусок.

Пусть потешатся скептики-циники,
ну а ты —
с добрым сердцем прочти...
Зацепи мою лодочку спиннингом,
за глагольную рифму прости.

1968

Товарищу по оружию

Как художник к мольберту, столяр к верстаку
и к своей каравелле Колумб,
вместе с солнцем вставай и иди к столу,
именную строгай строку.

Только верь, что вся правда — в твоей судьбе,
вся земля для тебя как мать.
Не до «певческой скорости» будет тебе,
если есть что людям сказать...

Снова глотку дерет за калибром калибр,
и в напалме горит Вьетнам...
А уж ямб сработает или верлибр,—
горевать и судить не нам.

1968

* * *

Какая уж выпадет карта —
в бою тебя пуля прошьёт
иль навзничь
                инфаркт миокарда
завалит и к койке прижмёт,—

и вот
    твое грешное тело
уже расстается с душой...
А главного ты и не сделал!
А главным —
                и был этот бой.

1969

Характер

Дремучесть лесов, да степей широта,
да синее небо по росту.
В крови эта страсть — городить города,
любить и судить с перехлестом

и только в грядущее строить мосты —
от мала и до велика...

Такой вот мечты, такой доброты
на стороне поищи-ка!

1969

Женщина

Я брел в тот день едва-едва
прочь от больничного предела...
Отряхивались дерева,
трава, как море, зеленела.
А в водосточных рукавах
кипела, пела, как живая,
захлебывалась впопыхах,
стонала радость дождевая...

Давно ль, как из окна тюрьмы,
мне было видеть горько-любо
кусочек городской зимы
с грязцой и с женщинами в шубах?
И вот такая благодать!
И я забыл про все печали
и силюсь женщину нагнать,
чтоб громче каблуки стучали.

Так по-земному хороша,
что сердце екнуло от боли!..
Но — стоп-постоп, зашлась душа
от той немыслимой юдоли.

Почти сползаю на скамью.
А женщина светло и мило
взглянула в сторону мою —
как биографию закрыла.

1969

Моему Пегасу

Уже немало за спиной,
уже немного в перспективе.
Лети, конек армейский мой,
чтоб заплеталось время в гриве.

Была дорога нелегка
по мировой второй
                и финской...
Порою лопалась строка,—
скости ее!
          У седока
был норов явно пехотинский.

Еще прости — за лебеду,
за понукание без цели...
За то, что чаще в поводу
бывать случалось в жарком деле.

1970

Гимнастерка

Виталию Закруткину

Ольшаник выровнял откосы
противотанкового рва...
Почти в обхват стоят березы,
цветет
тридцатая трава.

Скрипят на скрипочках цикады,
и юрко ящерки снуют...
По зеленеющему скату
сойди,
как в молодость свою.

И оживут родные лица
ребят,
рискнувших на прорыв...
Как кровь, сочится медуницы
почти пурпуровый разлив.

Чадят огнем и дымом горьким
навеки горестные дни...
Ты у защитной гимнастерки
пошире ворот распахни.

Не для парада перешита
она в армейской мастерской,
и мне ль не знать, как беззащитен
ты в ней пред завистью людской.

Она единственна и свята
и всем оправдана вдвойне...
Она — как траур по ребятам,
вчера погибшим на войне.

1973

„Катюша“

Врывшись в землю с головой,
самокруткой
грел ты
душу,
когда
жахнула впервой
и пошла играть «катюша»...

Кто-то слух пустил про Марс:
мол, сговорено заране,
и по немцам,
мстя за нас,
долбанули марсиане.
Мол, открылся фронт второй,
а войска,
секрета ради,
под землей прошли дырой,
но не спереди, а сзади...
А не бывшее вовек
выло,
грохало,
гудело.
Что тут может человек,
коль сама земля горела?
И такая тишина
в уши втиснулась,
как вата,—
будто кончилась война...
Когда
жахнула она
раз четырнадцатый кряду...

Тридцать лет уж
той поре
(а и ныне ломит уши!),
как под Вязьмой
на Угре
вышла на берег «катюша».

1974

И снова июнь

И снова июнь, и, как прежде,
полынью дымит суходол.
На летнюю форму одежды
зайчишка-русак перешел.
Течет к перелеску крылато
цветов суматошный прибой.
Бушует
над кашкой и мятой
червонным огнем
зверобой.
Вот-вот и займется опушка,
и лес не спасти от огня...
Стволом поворочает пушка,
зрачок наведет на меня.
Откат
разнесет маскировку —
и ржавчиной
из забытья
беспомощно сунется в бровку
армейская каска моя.

1974


Поэмы

Первая любовь

I

В тот город ехать — можно и не ехать,—
но с Северного, если из Москвы...
Сквозь буйство вологодского ореха,
безумство мяты и разрыв-травы.

Сквозь жимолость, где деревце любое
без боя не подпустит, не падет.
А по душе придешься — отряхнет
сережки и останется с тобою

хоть до скончанья века. Навсегда
в непоправимом трепете и блеске.
Как женщина, что сбросила подвески
на подзеркальник звонкий, как вода.

Весь мир у ног! Ей все сегодня надо
и вместе с тем не надо ничего.
Земная радость лада иль досада
от взгляда не зависят твоего.

Все за тебя та женщина решила
в какой-то миг — движением руки.
На что она тебе, мужская сила,
коль поступить не смог ты вопреки?

Вторые сутки незнакомый город
тебя в объятьях держит, как в плену.
Но надо вспомнить: двадцать лет — не сорок.
Чрез город тот ты едешь на войну.

А надо вспомнить — ты еще влюбленный
во все, что есть живого на земле.
И в сутолоке, давке привагонной
ты никого не помянул во зле...

К зиме свершим по фюреру поминки,
а по весне Германия падет...
А что по сводкам на фронтах заминки —
спланировано было наперед.

О, как мы бодро и согласно пели
всем классом от рассвета дотемна:
«Если завтра война...»
Нам интенданты выдали шинели,
а вот винтовок — на троих одна.

В пути получим! А пока сумей-ка,
как на чернорабочего войны,
на своего погодка с трехлинейкой,
как на себя, взглянуть со стороны.

Вдруг если мина ненароком треснет
перед окопом либо за спиной?
В тылы не даст ли ходу твой ровесник,
поскольку песня — всё же это песня,
как говорится, а война войной.

С девчонкой стоя, думает о чем он,
остриженный «нолёвкой» наголо?
Не замечая, что на левый чебот
спиралью «голенище» поползло.

Знай выбивает камушки беспечно,
подошвою катает по доске.
Полупустой мешок его заплечный,
полузабытый, виснет на сучке.

6 Заказ 404

Но что-то есть надежное, такое
в его руке на горлышке ствола,
что за окоп ты можешь быть спокоен!
Да и не зря ж, придвинувшись щекою
к его плечу, девчонка замерла.

Душа болит — что рана ножевая,
и синь в глазах застыла потому...
А вот тебя никто не провожает,
и ты уже завидуешь ему.

Готов критиковать и придираться
к любой пустяшной мелочи всерьез.

Вдруг чей-то выкрик: — Топталыги! Братцы...
Танкисты отцепили паровоз.
Теперь все ясно! Кисни на запасном
через просчет начальства своего...
А ясно то, что ничего не ясно,
и чуточку тревожно оттого.

Привык ты к показухе на парадах
и сгоряча не в силах разуметь,
что в беспорядках — тоже свой порядок,
коль на событья трезво поглядеть.

— Товарищ первый... в голову колонны!
— Тало-н-ны...— сразу это входит в раж.
Немилосердным солнцем пропеченный,
спешит, летит начальник эшелона,
разгоряченный батальонный наш.

Он сбился с ног, хотя и парень крепкий,
но терпелив и вездесущ пока.
Две вперехлест надетые планшетки
его, как шпоры, хлещут по бокам.

На всем бегу расстегивая кобур,
уже перемахнул через пути
и рвет ТТ... И замирает, чтобы
хоть на мгновенье дух перевести.

Да и какой барыш с того запала,
когда и вправду паровоза нет...
И взглядом напоровшись на две «шпалы»,
в кармане брючном топит пистолет.

Еще не раскрутившись, как спросонок
или когда узлы не сведены,
перебирает зубья шестеренок
неторопливый механизм войны.

Еще ребята гибнут на заставах,
а немец — вот он, в глубине страны...
Поздней война по-своему расставит,
перетасует души и чины.

Поставит шпонки нужного сеченья
и БУП[1] дополнит тем, как бой вести...
Ну, а покуда собственные мненья
в войсках и не в ходу и не в чести.

Еще службисты — у других под кровом,
и карьерист — не редкость тут и там...
И побелел, и прикусил до крови
растресканные губы капитан.

И повернулся резко, и заполнил
в твоей душе заветный уголок.
Ты навсегда таким его запомнил,
как будто для поэмы приберег.

---

[1] **БУП — боевой устав пехоты.**

Как будто бы для всех живую душу
открыл, приговорил ее на взлёт...

А та душа живая вдоль теплушек
идет, совсем невесело идет.

Как тлю, ракушник давит каблуками.
— Привал! Привал... — командует баском.
И загремели хлопцы котелками —
кто к водокачке, кто за кипятком.

А кто на рынок (не прожить без риска!)
бочком, бочком и — пулей под забор...
И чья-то мать. Тревожный, материнский
о двух лучах скользит по лицам взор.

А вот невеста со своей подругой —
из тех, что по-хорошему просты,
каких берут в подруги на поруки
для оттененья личной красоты.

Почти к теплушкам выбились подружки,
в две пары глаз глядят во все концы.
А мы, зело похожи друг на дружку,
толчемся, словно в бочке огурцы.

От водокачки, словно из-под крана,
идет боец, до нитки мокрый весь.
И онемел, всплеснув руками:
— Мама!
Пришел в себя:
— Да ты откуда здесь?

А мать сует ему свою кошелку,
не понимая вовсе ничего.
— А я оттоле, Ваня... из-за Волги... —

И, как на привиденье, долго-долго,
скорбя, глядит на Ваню своего.

— А ты на днях приснился мне, болезный!
Все колобки хвалил. Я напекла.
Стоял ты босый на путях железных
далеко где-то. Вот я и пришла.

Где на попутной, где пешочком, значит,
а то и ходом, чтобы поскорей...

Не зря гуторят, что от века зрячи
сердца солдатских матерей.

Да и в секретах есть свои резоны,
покамест ты не в пекле,
не в бою...
И ты идешь на сквер пристанционный,
раздумчиво садишься на скамью.

Как инвалид, увечный и ненужный,
или пижон уставший от зевот,
торчишь на пыльной лавочке. А служба...
(Какая служба? — ведь война идет!)

В приказах, сводках — стены и заборы,
кричат плакаты, душ не веселя...
И даже днем на окнах виснут шторы
из дарового, злого миткаля.

Надрывно застонали бинторезки,
разделывая марлю на бинты...
Еще не похоронки, а повестки
разносят по домам до темноты.

И осаждая райвоенкоматы
(в запасе кантоваться не резон!),

еще красноармейцы — не солдаты —
вне очереди просятся на фронт.

Они пылали подвигами с детства,
в чапаевцев играя в том пылу.
И презирают всех, кто отсидеться
ловчит хоть и по брони, но в тылу.

А ты других не лучше и не хуже.
Прямолинеен. Чуть постарше лишь.
Слегка хлебнуть успевший финской стужи,
на голубой скамеечке сидишь.

Ты по газетам судишь об эпохе,
как верный сын своей родной земли...

— А там сейчас такая суматоха!
Танкисты чей-то поезд увели... —

Он был внезапен, этот голос женский,
как ливень в ведро, как воды ушат.
А губы как рисунок. И подвески,
как две слезы крупнущие, в ушах.

В руке — жар-птица, либо фигарушка —
как костерок... И поскрип каблучков.
Волос корона. Радужные дужки
вкруг синевою хлещущих зрачков.

И выреза порука круговая —
не наглухо. И глаз не отвести.
Ужель сама себя не понимает,
а если понимает, если знает,—
зачем таких не держат взаперти?..

А правда в том, что было горьким детство,
в заплатах юность. И метель мела.

И дуло в дверь. И никуда не деться
от красоты, что сердце обожгла.

Тебе под праздник не дарили книжек,
и все игрушки — скалка да заслон.
Ты жизнью был с младенчества обижен,
и чем-то очень важным обделен.

Как ржа иль хворь, вточилась в душу робость,
учила жить, не поднимая глаз.
И ты смирился. Вот откуда пропасть
между тобой и ею началась.

Не в те входил и выходил ты двери,
и с ног чужих донашивал рванье.
Свою любовь ты выдумал. Поверил.
И задохнулся, встретивши ее.

II

Был берег крут. И лестницы старинной
к реке ступени сбитые вели...

Есть трибунал. Штрафрота. Есть Ирина.
А ты за нею — хоть на край земли.

Ты позабыл уставные страницы,
и трын-трава — параграф хоть какой...

Когда-нибудь все это повторится
с неповторимой юностью другой.

Когда-нибудь совсем другие двое
друг другу глянут в жаркие глаза.
И все забудут. И, как мы с тобою,
сойдут к реке. И налетит гроза.

И будет все. И все не так, как было
с тобой.
Со мною.
И не вкривь да вкось.

...А шла война. И в лица солнце било
и прошивало сарафан насквозь.
Ты холодел, когда ее колени
брал в оборот тот ветер, как свое.
Когда б не эти клавиши-ступени
под каблуками звонкими ее!

Ведь это стало музыкой казаться
в подковки, в доски спрятанной затем,
чтоб не могло так вечно продолжаться
иль оборваться, кончившись ничем.

И не с того ль, взглянув вполоборота
в ее глаза, чтоб в сердце сохранить,
ты обогнал Ирину. И заботал
ботинками, чтоб музыку забить.

Ты топал зло. А музыка звучала.
Ты уходил. А музыка звала.
Ты так решил. А лестница кончалась —
или назад, иль в никуда вела.

Знать, в половодье зацепила льдина,
с водою вольной те ступени смыв.
А за спиной:
«тук-тук...
тук-тук...»
Ирина!
И ты летишь, как в пропасть, под обрыв.

От самого себя ища спасенья,
не ведал ты, что в целом жизнь — проста.

И от себя укрыться с сотворенья
не удавалось людям никогда.

Ужо тебе, коль, выхода не видя,
от жизни побежишь, как от огня.
— Да тут обрыв! — кричит она.— Ловите...
— Чего ловите?
— А хотя б меня.—

И были близко смуглые колени,
и губы рядом, и глаза — у глаз.
Дыханье прерывалось. А паденье
уже порукой связывало вас.

Но вы о том и думать не умели
и гнали прочь те помыслы. И все ж
не как вчера на этот мир глядели,
где рядом с правдой уживалась ложь.

Тревога нарастала, обжигала,
за ивняки на отмели вела.
И волжского простора было мало,
и солнца мало, и земля мала.

Как просто все. Не торопись — не просто.
Бери весло.
Еще весло.
Рывок.
Еще рывок, и лодка — с ходу в остров.
Толчок.
Прыжок.
И как огонь — песок.

Лукавый вскрик. И сразу смех. И длинный
гудок буксира... И дымит труба.
И — облако... И снова смех Ирины,
и озорством рожденная мольба.

Она сняла заране босоножки
и держит их смешно — за каблуки.
— Да тут Сахара! Хоть пеки картошку...
Скорей сюда! О, как вы неловки...

Упрек?.. Ну что же, с ней ли препираться
по пустякам. Молчи. Не говори.
— Теперь купаться! Хватит вам копаться.
Я буду раздеваться. Не смотри.

И хоть в словах тех не было приказа —
ты, как медведь, рванулся чрез кусты,
обласканный неосторожной фразой,
где «вы» легко переходило в «ты».

Цветы.
Кострище.
Брошенная лодка,
да и не лодка вовсе, а баркас!

Тут и присядь,
смотай свои обмотки.
Закрой глаза.
О ней забудь сейчас.

И до чего же сложно мир устроен,
и до чего ж забавен человек.
Лежит в трусах, а важно хмурит брови.
Все отвергает, а гуденьем крови
приговорен к той женщине навек.

Берет абстрактно и любовь и дружбу
и в подсознанье на весы кладет.
Зубами мнет травиночку... А служба —
какая служба! — ведь война идет.

А вот ему пристало разобраться
без промедленья: хил он или тощ...
— В конце концов вы будете купаться?
Такая туча! Вот ударит дождь.

А ты такой — нельзя придумать плоше,
и боль в висках, такая духота.
Неотвратимо плещется в ладошах
и, как кольцо, летит в лицо вода.

На взводе нервы. Будь таким, как прежде,—
сведи на шутку, руку отведи.
Ведь разминуться есть еще надежда:
не в отступленье — в трезвости воды.

О как отрадно вбиться жарким телом
в стекло реки и ритмом овладеть...
Ты плыл и плыл, а девушка глядела
и гладила ладошкой по воде.

И шла волна — то круче, то положе,—
и била в ноздри, и в глазах лишь мрак.
И прокатилось по реке: — А-ле-ша-а!
Обратно. Слышишь? Неразумно так.

А ты уходишь дальше, дальше, дальше.
И глохнет голос в шепоте воды...
(Остановись, поэт. Побойся фальши.
Пловец вернется.) И вернулся ты.

Ступил на мель и неумело, боком
взошел на берег, тих и невесом.
Стер воду с ног... И где-то ненароком
перевернулся и ударил гром.

И по реке упруго, словно пули,
забили капли, и сплелись круги.

И встрепенулись травы и вздохнули,
и потянуло стынью от реки.

А вы и так до чертиков зазябли,
в мурашках все — как в рябинах песок.
Глазами, ртом Ирина ловит капли,
хохочет — от тебя на волосок.

Прижмись губами, тронуть попытайся
хотя б мизинцем, слышишь, только раз.
А ты кричишь: — Спасай свое хозяйство!
Не отставай. Быстрее. Там баркас.

Рука в руке — через кусты бежите.
Сердца грохочут, дышится с трудом.
Вот и баркас. И вы под ним лежите
плечом к плечу, почти что нагишом.

Его рыбак пристроил вперевертку,
чтоб перекрасить,— «банкой» на пенек.
— Вы все-таки возьмите гимнастерку —
не ошибетесь. Наш ковчег промок...

Из плах еловых сбитая посуда,
ты все знавала на веку своем.
— Тут как в пещере. А вообще-то — чудно!
И ничего не боязно вдвоем.

И был наполнен выжиданьем голос,
и в утвержденье замирал вопрос.
И выпала заколка, откололась,
и в лица хлынул водопад волос.

III

Так почему ж так тихо и печально,
как никогда, неладно на душе?

— Ты учишься?
— Не знаю... в театральном...
да это и не главное уже.

Ведь я раз десять в армию просилась!
И всякий раз — отказ, отказ, отказ.
Как будто я чужая для России,
как будто я... — и слезы льют из глаз.

Ты говоришь ей, а она не слышит,
и плечи гладишь — ей не до того.
И кто придумал, что война все спишет,
когда война не спишет ничего.

В три шкуры взыщет, если неубитым
на поле боя сляжешь...

— А в Москве
вся площадь Комсомольская забита.
В газонах — дети,
так и спят в траве.
А уезжают больше — кто чиновен,
пять чемоданов да жена-семья.
А вдруг не запретят, не остановят?!
Пора б и слово молвить
из Кремля...

Она права. Не вздумай отмолчаться,
ты знаешь сам — в Москве нехорошо.
— А жизнь покажет!.. Надо собираться.
— Ты прав, Алеша... надо собираться —
завечерело. Вон и дождь прошел...

За счастье это жизнь жестоко спросит,
на всю катушку выдаст с ветерком.
А весла вас на отмели выносят,
и камушки хрустят под каблуком...

И взят подъем. И в сквере неустанно
хрипит динамик
в гуле голосов.
И в сдержанной подаче Левитана —
перечисленье сданных городов.

Старуха. Мальчик. Инвалид на стуле.
И чей-то стон. И слезы на глазах...
А вы поспешно в улицу свернули,
вполупотьмах стоите на путях.

Не до раздумий вам, не до известий —
«как с эшелоном?» — вот что вас вело.
А эшелон... Да вот же он. На месте!
И тяжесть с сердца, как рукой, сняло.

Бренчит с грустинкой балалайка тихо,
искрят махрой начальство и друзья...
— Прощай, Алеша. Не припомни лихом.
— Не смей, Ирина. Я люблю тебя.—

И тут не обойтись без провожаний,
а критик, он же тоже человек...
И вы идете мимо темных зданий,
великой тайной связаны навек.

Калитка. Сад. И тропка к дому... Тут бы
вам и расстаться надо, может быть.
Морским узлом перехлестнулись судьбы —
не развязать его, не разрубить.

Не медли на опасном повороте,
не повторяй, солдат, судьбу мою.
— А все-таки... вы, может быть, зайдете?
Хоть на минутку. Чаем напою.

Зажгите спичку. Я сейчас открою...—
И ты стоишь — и нежен, и колюч.
— А мама где?
— А мама на гастролях
с театром... в Бресте...
— В Бресте?..
Дайте ключ.

Как выстрелы — шаги по коридору,
и бьется мысль, жизнь надвое деля.
И вспыхнул свет, и зачернели шторы
из дарового, злого миткаля.

Как у людей, здесь все обыкновенно —
в квартире нежилой, полупустой.
С портрета смотрит кадровый военный —
при кольте и петлицах со звездой.
Такие вот сидят, наверно, в штабах...
Высокий лоб, открытый взгляд прямой.

— Не сочиняй, Алеша...
Это папа.
Последний снимок.
Год тридцать седьмой.

К дням непонятным отсылает память,
где что ни случай — то кричит вопрос.
И нет ответа, как дороги в замять,
и нелюдимо-горестно до слез...

Потом вы пили чай по-деревенски —
из блюдец, непрозрачных, как слюда.
И свет погас. И брякнули подвески
о подзеркальник звонкий, как вода.

IV

А ты в пути-дороге три недели
не ел, не спал ни разу по-людски.
И рухнул в сон, как в преисподню, еле
дохнув тепла доверчивой руки.

И тер глаза, как землекоп спросонок,
когда проснулся вдруг — от тишины.
Перебирает зубья шестеренок
неторопливый механизм войны.

И все, что было,— в памяти воскресло,
неумолимо встало пред тобой.
Поджавши ноги, спит Ирина в кресле,
на подлокотник сбившись головой.

Тень от ресницы, словно тушь из банки,
размыть не в силах кроха-ночничок...
Постираны, поглажены портянки,
и свеж, как внове, подворотничок.

Мгновенье — ты одет и запоясан,
и гулок шаг по улицам пустым.
А время между тем к седьмому часу
идет, и вы бессильны перед ним.

Щебенка. Уголь. Костыли и стружка.
Мотки «колючки» — под ноги гляди.
И красные двухосные теплушки
взамен четырехосных на пути.

И пожилой боец в седьмом вагоне
спевает, балалайку теребя...
На взводе нервы.
— Не беда, нагоним! —
ты говоришь, чтоб поддержать себя.

И вновь, как одержимый, повторяешь:
— Нагоним! Дальше фронта не ушли...
И, словно для острастки козыряя,
к тебе, косясь, подходят патрули.

Лобасты, узкогруды, как мальчишки,
становятся умело — с двух сторон.
— Кто есть такой?.. — и забирают книжку,
которой ты к присяге приведен.

И — часовой. И стол комендатуры.
Плешина. «Шпалы». Ножик разрезной.
И вязкий взгляд, отточенный и хмурый,
и подбородок холеный двойной.

Ты перед ним стоишь, Ирина — сзади.
А он гремит: — Запутался. Все — врешь!
Ты дезертир. Щенок... Связался с б...
— Нате! —
Удар был точен, и ответный тож.

Ты спохватился и молчишь повинно.
Еще удар. Подножка. Ты упал.
Сквозь тихий вскрик и детский плач Ирины
ударило по сердцу: «Трибунал»...

Закон поры военной,
он не круче,
чем взлет души и чем твоя беда.
В немых раздумьях долго будет мучить,
казнить тебя
твоя ж неправота.

Ты до конца пройдешь все испытанья,
других не хуже тяготы нося.
Но не поймешь, что старшему по званью,
хоть он и хам, а морду бить нельзя.

V

Окурки — в урну, и в карман — блокноты.
Плащ не забыт. И застлана постель.
Буфет закрыт. С гостиницей в расчете.
И ты уже берешься за портфель.

Всю ночь курил. Судьбе ли было нужно
или земля действительно мала,
что ненароком лекторская служба
тебя
в тот самый город занесла.

Вновь воскресила в памяти потери
и навсегда выводит за порог.
Щелчок замка. И у прикрытой двери
вдруг телефонный удержал звонок.

Взгляд на часы: едва седьмой... Так рано
кто может? Знать, попали не туда...
В холодной трубке шелестит мембрана,
и ты роняешь безразлично:
— Да...

По микрофону провели ладошей
и — ни гугу,
дыханье затая.
И вдруг, как снег на голову:
— Алеша...
Ты извини, что рано.
Это я...

В огне зимы, когда броня кололась,
как хрупкий лед, и властвовала смерть,
тебя из пекла вывел этот голос.
За далью лет как смог он уцелеть?..

Ты всю войну писал ей и понуро
глядел в листки, пришедшие назад,
помаранные исподволь цензурой,
с почтовой метой «выбыл адресат».

А ты все слал и слал свои бумаги,
моля начальство адресных столов...
И звал ее, когда слепые траки
несли к чужим траншеям штрафников.

Ты в самый срок скатился из-за башни —
на всем ходу — с решетки ветража...

Нет, ты последним не был в рукопашном,
когда дошло в траншеях до ножа.

И в миг, когда, прикладом огорошен
и кем-то сбит лопаткой наповал,
услышал ты далекое — «Алеша...»
И голос тот на двадцать лет пропал.

Вот и теперь опять исчез куда-то,
как в том окопе — в грохоте войны.
И вновь родился: — Я из автомата...
Мы непременно встретиться должны.

Как будто только вечером расстались
и спохватились люди под рассвет —
договорить, что не сказать пытались
иль не успели... Через двадцать лет!

В диск телефона смотришь изумленно,
бросаешь трубку и портфель берешь.
И, как тогда, на сквер пристанционный
навстречу ей идешь — под серый дождь.

Сегодня с вас никто за то не спросит,
и все ж к вокзалу взгляд кидаешь ты.
И к тротуару пришивает осень
с багряных кленов сбитые листы.

И ни один с другим не одинаков,
и рядом с желтым — черный, золотой.
Жизнь состоит из петель и зигзагов
и очень редко кажется прямой.

Зеленый зонт и плащ зеленый узкий,
а туфли вот — уже без каблуков...
И дым волос, и радужные дужки
вкруг
синевою хлещущих зрачков.

И две морщинки горькие успели
пробить дорожки и залечь у губ.
— А вы все та ж. Совсем не постарели... —
ты лжешь в глаза ей, а друзья не лгут.

Твой комплимент нелеп, да и не нужен,
и не затем она сюда пришла.
— Я с теплохода... Мы в поездке с мужем.
И я вчера на лекции была.

О, как он горек,
дым воспоминаний,
и как он сладок, и невесел как!..
Рука к руке бредете мимо зданий,
то торопясь, то замедляя шаг.

Нет,
ничего история не спишет.
Запомни все. Душою не криви...

И со щита дождь смыл твою афишу
на лекцию «О дружбе и любви».

Через плакат шагнули вы к вокзалу
и молчаливо вышли на перрон.
Тебя судьба навечно прописала
в седьмой вагон. Тебя дождался он.

Не отравляй души обидой тихой,
да и ее не доводи до слез.
— Прощай, Ирина... Не припомни лихом.
— Прощай...

И хрипло свистнул паровоз.
И не спеша залязгали колеса,
и, прислонясь к вагонному теплу,
не торопясь,
                    размашисто и косо
штриховкой дождь прошелся по стеклу.

Да ведь и нам теперь уже не к спеху.
Достань газеты,
жаль,
что не новы...

В тот город ехать — можно и не ехать,—
но с Северного, если из Москвы.

1961—1963

На уровне сердца

I

Гулкий плац хозяйства корпусного.
Час поверки. Знойные края...
Ты кого разыскиваешь снова,
фронтовая молодость моя?

Или просто дома не сидится,
к старости не спится по ночам...
В сорока пяти верстах граница —
та,
что вечно снилась басмачам.

Знать, и вправду мы не стали суше,
коль примчались в полк издалека,
лишь прослышав:
в прапорщиках служит
Николаев — бывший сын полка.

Пылью обжигающей и тонкой
из пустыни тянет тяжело...
Помолчи и погорюй в сторонке,
коль на мемуары повело.

На тебе и китель не по мерке,
да и не по моде — сапоги...
Вот и не мешай чужой поверке,
слезы на потом побереги...

Выкликает с трепетом сердечным
прапорщик,
                    не узнанный пока,
имена,

внесенные навечно
в главный список энского полка.

Откликом торжественным и четким
плац гудит.
Как бы из бронзы он.
Словно бы президиум почетный
свято избирает батальон.

Не на жизнь, а на смерть присягает,
в памяти до гроба сохранит.
Главный список прапорщик читает,
свой внося порядок
в алфавит.

В сумраке, густеющем мгновенно,
мне не разглядеть его лица...
Открывает список сокровенный
именем приемного отца.

— Николаев... —
и, души не чая
в парне том, что намертво осип,
отделенный молодо вздыхает,
за того, другого, отвечает:
— На войне... за Родину погиб...

Как же так?..
Не торопитесь, братцы!
В жизни —
на поминках ли спешить?
Этак впору сердцу разорваться.

Дайте в обстановке разобраться,
с памятью наедине побыть.

Не беда, что взыщут за прореху
в перекличке,
если не поймут...
Может, я и в полк родной приехал
только из-за этих вот минут.

Это счастье, коль один на тыщу
вдруг такой придется, как комбат...

...Словно скорлупа — паром на Тиссе,
и напополам летит канат.
Бьет из пулеметов берег правый,
а комбат — с багром к нему, с багром...
Дрогнешь — и накрылась переправа.
Но уже у берега паром.
Только б дотянуться до кола, и...
Ткнулся в плот
и выскользнул багор.
По́д воду уходит Николаев,
очередью срезанный майор...

— Милославов?..
— Пал под Будапештом.
— Ло́жечкин?..
— Не донесли к врачу... —
Это я уж
в мареве кромешном
сам себе горячечно шепчу.

На свое на горе дополняю
мальчиков, не знающих меня.
Потому что тех, погибших, знаю,
мысленно позицию меняю,
роту вывожу из-под огня...
Жгучие непрошеные слезы
кулаком гоняю по лицу...

— Иванов?..
— Моло́дченко?..
— Березов?.. —
и дышать мне нечем на плацу.

II

На граните — давнишняя дата:
сорок первый, тире, сорок пятый...
Дней рожденья
не выбили
тут...
Уточняю:
родился
в двадцатом,
подтверждаю:
убит
в сорок пятом.
Потому что служил с солдатом,
что теперь Неизвестным зовут...

Нас у Родины, видно, немало.
Не оплакать нас всех
и не счесть.
Есть средь нас
усачи-генералы,
особисты и писари есть.

Нам в условной могиле
не тесно:
честно жили
и умерли честно.

Кто — под Брянском,
а кто под Брестом
безвозвратно
был взят войной...
Кто на Волге — огнем и железом,

кто под городом Бухарестом,
на Дунае накрыт волной.

Мы погибли Победы ради,
чтоб твоя
продолжалась
жизнь...
Сиротливо лежит в Белграде
под плитою Мишка-танкист.

Положи на лицо ладонь,
помоги
хоть чуть-чуть согреться:
полыхает Вечный огонь.
День и ночь.
На уровне сердца.

III

Из-под мрамора на живых
синими
смотрит
глазами...

Тумбочка на двоих
между двух коек в казарме.
Трепетный шорох листа,
дух
тополиного
вздоха.
Да через Прут — с полмоста,—
так и сияет охрой.
Этот обломок моста
рады б спихнуть бояре!
Дра́им его спроста,
красим —
когда в ударе...

А еще на двоих —
пулемет да тачанка.
В снах голубых-голубых —
женщина.
Молдаванка.
Та, у которой сын —
хлопец забавный Колька...
Верный дружок один
усыновил его только.
С другом еще вчера
кончены все раздоры...

— Анна,
решать пора,
люб из двоих
который?..
Плюхнулся на скамью
и ничего не вижу.
— Я бы вошел в семью...—
словно сквозь сон
слышу.—
Или весь век тужить?
Нет ни пути, ни брода...—
Рядышком сел.—
Служить
нам и всего с полгода...

Анна стоит молчит,
переплетая косы.
То на него глядит,
то на меня. Но косо.
— Ах вы, юнцы-бойцы,
нет мне — от вас — отбоя...
Колька,
кого в отцы
примем из них с тобою?..

Дескать, как сын решит,
так, мол, и будет, значит...

Колька к скамье летит,
сердце поет и плачет.
Как цыганенок смугл,
волосом —
чуть не белый.
Знамо, до наших мук
нету мальчишке дела.

Но, замедляя шаг,
замер он против света:
так поступить иль сяк,
может, все в шутку это?..
Ходики «тук» да «тук»,
а за оконцем — слышно —
трется о створку сук
алой,
как кровь,
вишни.

А у меня
                в груди —
гул,
затяжной и низкий:
«Только
не подведи,
вспомни про ножик финский.
Помнишь,
какой манок
сладил, тебя лишь ради?..
Хочешь — бери бинокль —
видно
всю
Бессарабию...»

...Ан не дошли мои
грешные заклинанья.
Вместо ее любви —
ждали меня бои,
смертные
испытанья.
Колька душой кривит,
стойко молчит...
Но руку
уж протянуть норовит,
только не мне,
а другу...

Видно, дружок, как есть,
в сговоре со всевышним.
Я же сегодня здесь
явно четвертый лишний.

Анны
шаги
тихи́,
ве́селы глаз агаты.
— Горе мое — женихи,
нуте-ка марш из хаты...

IV

Очень нехорошо,
что молдаванка
снится...
Жизнью вопрос решен,
снова решать не годится...
От головы до пят
на грани
            войны и мира
знатно сопят-храпят
младшие командиры.

Впрок без просыпу жмет,
на отпуск не уповая,
в колосники поддает
старшина
Николаев.

В банный недавний срок
мною под бокс подстрижен,
спит себе,
яко бог,
разве что только рыжий...

Все у него у руки —
пара х/б и скатка,
компас и сапоги
фляга и плащ-палатка.

И как предел мечты,—
«щечкой»
щеки касаясь,
личный торчит ТТ —
черная наша зависть...

...А над нашими койками —
еще по койке.
Сбиты ролики,
прикручены стойки.
Так по инструкции
в войсках
полагается.

От храпа
конструкция
едва не качается.
Дернут пошибче —
и строй всё заново..

Брось копошиться,
забудь про Иваново!

Лишь дорога
твоя дорога...
Выстрел.
Второй...
— Боевая тревога!..

Стук пулеметов,
то стон,
то окрик...
Ожили доты,
в огне весь округ.

V

Плотно набит вагон.
Чадно дымит акация...
Лучше уж смерть, чем полон,
только не оккупация.

— Эвакуация!..
— Эвакуация...

У мужика желваки —
словно шарниры вставлены...
Женщины. Старики.
Дети вчера отправлены.

— Не напирай. Отыдь!..
— Я и ки́ла не вешу...
— Экая волчья сыть,
будешь с килой, как врежу...

Можешь ружье держать? —
Будешь
и здесь
полезен!..

— Мать твою перемать,
а ты-то
куда лезешь?..

— Аль не с дитяткой я́?..—
Но, прорывая сено,
катится из тряпья
бу́ковое полено.

— Ай да герой с дырой...
— Лучше б меня взял
в лапы...
— Анна!.. На кой такой?!
— Не удирай, постой...—
в спину смеются бабы.

Только не тот уж смак,
не по поре́ веселка...
Где-то теперь и как,
едет ли, нет Николка?

В пульман вчера его
с первым втолкнули классом.
Глянуть бы на него
хоть бы единым глазом...

Наш или нет самолет?..
Низко прошел, со звоном.
Сдвоенный пулемет
тянут
на крышу вагона.

Дрогнул. Пошел состав,
красный вагон «телячий»...
Горечь горелых трав.
Зной духоты горячей.

VI

Много вас, погибших, у страны,
и пропавших без вести немало...
Беженцы бежали от войны,
а война на пятки наступала.

Кто броней, кто гусеницей вмят
в незабудки,
порохом пропахшие...
Сдуру грохнет бомба иль снаряд —
и попал ты
в без вести пропавшие.

Потому что рядом ни души.
Да и если был бы
кто-то рядом,—
смело в святцы и его пиши
в ямине-воронке от снаряда.

Адресом дополни письмецо,
штампом
отраженное заранее:
вышеупомянутых бойцов
ни среди убитых нет, ни раненых.
Стало быть, держаться вы должны,
непременно
лучшей ждите вести...
Горькой полуправдой старшины
так и жили до конца войны,
с нею и состарились невесты.

Под шатром родных моих небес —
широта!.. Но чуда не бывает...
И с прошеньем
мама шла в собес,
на дрова за сына подавая.

1/27 Заказ 404

Интендант, болезнённый на вид,
в ко́жанке, пришедшей по ленд-лизу,
матери смущенно говорит:
— Было б проще, если бы убит,—
без раздумья наложил бы визу...

Ну а сына — помню хорошо,
хаживали вместе по пороше...
Торф поступит —
                    как-нибудь мешок
на салазках
сам тебе подброшу.
Заходи почаще... Заходи,
е́жели совсем уж
                    тяжко станет...
А письмо — сама уж посуди —
так ли, сяк — на пенсию не тянет...

Около вселенского огня
потечет космическое время...
Бляху от солдатского ремня
через годы
            выковырнет лемех.

VII

Вновь проже́кторами вспорот
небосвод над головой...
В затемненье полном
                    город,
спрятавшийся за Москвой.

Между звезд прожектор шарит...
И, конечно, вскорости
раза три
        зенитка вдарит
для очистки совести.

Перламутровые блюдца
в небе треснут слабенько...
Жмет мороз...
                    Теснее жмутся
друг ко дружке бабоньки.

Не искрит пора ночная
и трамвайным проводом,
потому что нет трамвая,
пропади ты пропадом!

Кабы знать такое дело,
размалина-ягода,—
пехтурой бы полетела,
заявилась загодя.

Видно, снова сняли ток
иль заснули в кабельной?..
Вмиг защелкнут на замок
номерок твой
                    в табельной.

...Жжет, как пр́оклятая, стужа
черные
          твои глаза...
Подбирает холод туже
на фуфайках пояса.

Над бровями бьется локон,
инеем прихваченный.

В три руки кроен
и стеган
в крупну клетку
                    ватничек.

Хло́пка
и мануфактуры
всем южанкам-зябликам
в счет грядущего
натурой
отпустила фабрика.

Но о выдаче — молчок,
дали — и помалкивай...
Подошло на башлычок
одеяльце байково.

Голубое по краям,
разделила
тонкое
«уплотненка»
пополам
с женкой-«подселенкою».

Не печалила она
брови соболиные:
— Получай свое сполна,
раз война
для всех одна
и судьба единая...

Не по выкройкам кроили,
примеряли, комкали,
громко
кромки подрубили
красными тесемками...

А в преддверии зимы —
из кирзы да пакли —
то ль сапо́жки,
то ль пимы
сотворили так ли!..

Содержание и вид —
можно
модниц ба́ловать,
на толкучке отвалить
и сот пять без малого...

Однорукий инвалид
шилом
рант накалывал!
На подошвы шел презент
шорника безногого —
самоходный
корд-брезент
со шкива широкого...

С алым хлястиком тугим
пряжка
еле сходится...
Лет чрез двадцать
по таким
станут сохнуть модницы;

будут рваться в магазин
прыткие модняшки:
— Нет ли макси-мокасин
с пряжками,
в обтяжку,—
тех, что дразнят на ходу
взгляд,
на песню падкий?..

...А открыли моду ту
с горя
две солдатки!..
Подмигнул во тьме трамвай
нехотя и бледно.

Лезь в вагон... Не потеряй
карточек
хлебных.

VIII

Из простенка, с плаката-портрета,
в проходной,
где робки голоса,
«Все ли сделал
ты
для Победы?..» —
из минувшего смотрят глаза.

Знать, всего повидала немало,
да в беде не согнулась она,
эта женщина с взглядом усталым,
пред которой
отступит война...

Но покуда — одна лишь забота
у нее,
у тебя,
у меня —
на Победу работай до пота,
да чтоб с ног не свалила работа,
на подольше хватило тебя!

В приграничье зеленом и тихом,
может, ты б и свой век прожила,
да нагрянуло черное лихо,—
и в отзывчивом сердце ткачихи
ты ответную жалость нашла.

Заглянула на миг обогреться —
ан осталась на гóд, не на час...
Бабий отклик открытого сердца,

скольких ты отогрел, скольких спас;
допустил о плечо опереться,
а потом —
и сухарь на двоих...

Жизнь держалась на уровне сердца
лишь на добрых порывах твоих —
и в поселках, и в городе дальнем,
и в огне — на самóй на войне...
Сквозь пугающий гомон вокзальный,
как спасенье,
тот голос печальный:

— Слышь-ка, дочка,
пойдем-ка ко мне!..
Нет конца вакуации этой —
и все дети да бабы одни...
Горемычное выпало лето!
Не швыряйся — сгодится газета.
На платок... Узелком затяни.
Не стесняйся!..
Да этих платочков —
пруд пруди...
Как придешь — погляди...
А годами-то ты и не дочка,
чай, с тобой одногодки, поди?..
Ехать дальше — одни пересадки,
маета одна. Право, не след...
Забирай свои шмутки-манатки.
Боже правый!.. И шмуток-то нет.

Треск зениток хлестнул по глазницам,
стиснул сердце и боль приглушил.
И друг в дружку втекли сквозь ресницы
две открытых до донца души,
две судьбины
годины несладкой,

две кручины поры горевой...
Две ничейных жены, две солдатки
в станционной толпе тыловой.

Комом к горлу прихлынула жалость,
что таилась и жгла искони.
Сердце к сердцу
как будто прижалось,
когда шли к «боковушке»[1] они.

Двадцать суток в дороге — не шутка
по путям фронтовым да кружным!
Об одном об оконце халупка
показалась вдруг раем земным.

— Посиди. На сухарик, пожуй-ка.
Дров подкину. Воды принесу...—
И огонь заплескался в «буржуйке»,
и вода заходила в тазу.

Довоенного спорого мыла
треть обмылка,
а всё же нашлась.
В две руки гостье волосы мыла,
в три воды окунула, сушила.
раз четырнадцать гребнем прошлась.
С пониманьем
по-женски глядела
на ненужную бабью красу...
— А вот плакать — и вовсе не дело.
Проживем.
Не кромсать же косу!
Перед ней раскудахчется завтра,
в прах рассыплется кадровик...

[1] **«Боковушка»** — приделок, пристройка к дому.

Ты как будто с картиночки.
Правда!
Жаль,
что я-то сама не мужик.
Я тебя сберегала бы всяко,
не дала бы тужить-горевать...
Но пора нам и на бок, однако,
по гудку —
с Левитаном вставать.
Вместе
с утренней сводкой известий
две картохи
взбодрим в котелке...
Уж и выспимся, выспимся вместе
на твоей, на моей ли руке.
Без приданого от роду женки
в нашем ситцевом царстве-краю.
Все же ты не сироться в сторонке,
оккупируй подушку мою...
В сон, как в звон, с головою ткачиха
оступилась,
вздохнувши в кулак.
Только ходики
вязко и тихо
знай свое продолжали «тик-так».

Шестеренками в чреве пофыркав,
за цепочку
шажком да ладком
тянет время
бессонная гирька,
утягченная старым замком.

По-хозяйски
в неведомой щелке
затевает волынку сверчок...

Снится Анне то муж, то Николка,
и гремит эшелон на восток...

Превеликою радостью рада
за мужчин,
что вернуться должны,
в полусне улыбается Анна...

Только есть
и жестокая правда,
беспощадная сущность войны!

Взвод охраны — полег в перестрелке,
не сработал пароль «будь готов...»
Проторчав с полчаса перед «стрелкой»,
эшелон возвратился в Котовск.

В черном облаке дыма и пыли
по вагонам хлестнула шрапнель...
Детвору по домам распустили
под картавые выкрики:
— Шнель!..

С верой
в светлую нашу победу,
с не мальчишеской болью живой
ткнулся в руки молдавскому деду
Колька
детской своей головой...

Свято воинский долг исполняя,
не узрев ни начал, ни концов,
отступал,
но тянул Николаев

«трехдюймовую»
с горсткой бойцов.

Кот наплакал — снарядов. А все же
при орудье
стрелковая часть!..
Стала собственной жизни дороже
на войне матерьяльная часть.

Видно, дело не только в снарядах,
где б ни било,
куда б ни несло.
Грянет срок — намотаются Татры
на спасенное то колесо...

Черным заревом небо пылает,
сталью
танковых траков скрипя...
Подкалиберным бьет Николаев,
вызывая огонь на себя.

IX

Ты подуй, подуй, погодка,
от Москвы
в Иваново.
Принеси-ка мне, молодке,
милого, румяного.

Не бракую,
если худ,
даже с кособочием...
Все же бабе был бы ход
и другое прочее.

Будь он черен или рыж,
шинеленка рваная.

Но при этом был бы лишь
не убитый — раненый.

Я бы литерным пайком
накормила милого.
Оделила табаком
и в корыте вымыла.

Рядом села б у окна,
подвела бы бровушки.

Третий год
карга-война
пьет людскую кровушку.

Ворог лезет
тут и там
не со страху жуткого.
Хоть и дали по зубам
Василевский с Жуковым.
Неужель четвертый год
длиться счету строгому?..
Хоть и дали укорот,
завернули к логову.

Но несут еще грома
небеса бездонные,
и идут еще в дома
вести похоронные...

Не до шика —
был бы пшик,
коли пусто в коробе:
на сто баб один мужик,—
это если в городе!

А деревню под метлу
вымели
последнюю...
Где-то придали селу
старика столетнего.

Не затем чтобы дурил
и чтоб женки ахали,—
по селу чтобы ходил
и махоркой пахло бы!

Стала главною впритык
силушка подсобная:
я — и лошадь, я — и бык,
я и баба и мужик,
на сто дел способная.

Я — и сеять, я — и жать,
и в токарне мучиться.
Коль не кончим воевать,
без миленочка, видать,
и рожать научимся!..

Я — и в бой, и в забой...
Даже — к пушке,
не с того ль и остра на язык?

Невеселые эти частушки
с горя тоже сложил не мужик.

В духоте-маете неустанной
лишь бы память свою сохранить.
С каждым выдохом-вздохом батана
удлиняется марля на нить.

С гулькин нос —
тот прирост,

а немало
набежит, коли ткешь по любви...
И во сне — только марля да марля
от Июня того и до Мая —
то — в огне,
то — в грязи,
то — в крови.

А и сном поделиться-то не с кем.
Знают сами! Кому ни скажи.
День и ночь марлю жрут бинторезки,
прогоняя сквозь диски-ножи.

В упаковке без марки фабричной
(хоть в бинтах и секрета-то нет!)
шел в окопы солдатские
личный
фронтовой медицинский пакет.

Лишь его ни на что не меняли,
как нужда ни была бы остра...
За Путивлем
на речке Каяле
им стянула мне раны сестра.

Я кричал: — Отползай, Ярославна...—
А метель все мела и мела...
Навсегда незабвенно и славно,
что та женщина в жизни была!

И до гроба останется дорог
за тоску госпитальных ночей
тот по-детски бесхитростный город,
пролетарская Мекка ткачей.

X

А в окно заглядывает вишня.
Как тогда,
                в студеных росах сад...
По годам подобранные письма
в папке из-под табеля лежат.

Женщина тесемки распрямляет,
раскрывает папку в две руки.
С береженьем
вновь перебирает,
не читает —
сердцем оживляет
траченные временем листки...

Уж давно повысушила слезы
пополам расколотая жизнь.
Шпилькой
в узел схваченные косы
задымились пеплом,
                посеклись.

С непонятным таинством и силой
сквозь ресницы светится душа.
Знать, не только юностью красива,
а была от века хороша!
Знать, с лихвой хватила горя, ибо
красоты не стала бы скрывать...

Тут и там
                на треугольных сгибах —
фронтового цензора печать.
Перебиты строки, как цезурой,
штампиком,
                и вымаран «десант»...

Наступать — дозволено цензурой,
обнимать — дозволено цензурой,
целовать — пожалуйста, не дура,
отступать — не смеет адресант!

Здесь — у места действия на страже,—
бился с текстом насмерть чудодей,
поработал ножницами даже,
а что не дорезал,
то под клей.

Ну а тут —
с особенным стараньем
счистил дату
и смотрел на свет,
хоть о тех событьях и страданьях
тыл и фронт
все знали из газет.
Здесь — над словом «Киев» думал долго...

Все ж на запад
по следам войны
пробивалась от Москвы и Волги
в письмах
география страны.

Он писал от боя и до боя
и в конце концов зашифровал:
«Я уж в тех краях,
где был с тобою
и тебя впервой поцеловал.
Повидал на белом свете столько,
что едва ль и примет
свет иной...
Можно спятить: отыскался Колька!!
И пока он временно со мной...

В полковом тылу пилотку носит,
от меня в затишье —
ни на шаг.
Сшил ему по мерке форму
Осин —
наш портной, из Соснева земляк.

Но в своем «хозяйстве» не оставлю:
пуля — дура,
даже не в бою...
С первой же оказией отправлю,
а не то и с нарочным ушлю...»

...Дальше, шибче
бой катился смертный
от родной истерзанной земли...
И с войны — трофейные конверты,
а не треугольнички пошли.

Был уже под Тиссой край передний,
как пришел вот этот — вырезной...
Перед похоронкою —
последний,
с типографской
траурной каймой.

То ль его предчувствие толкало,
то ль бумаги не было другой...
Вскрикнула и замертво упала.
Вскрыла утром мертвенной рукой:

«Никогда заране, перед боем,
не писал... А нынче вот пишу...
Если что, так я тебя не стою...
На плоту с десантом ухожу...»

8 Заказ 404

Вкривь и вкось
плыла приписка к краю:
«За поспешность уж не обессудь...»
Время стерло слово
«Обнимаю».
Еле-еле видно:
«Аня, будь!»

XI

Под нашивками —
шрамы-раны,
но добры и светлы глаза...
Отгремевших битв
ветераны
собираются в ЦДСА.

На такси
к подъезду
подкатывают,
горячо
друг на дружку
взглядывают.

Через тридцать лет —
узнаю́т...

Генерал на войне был крут,
а его из машины выхватывают
и крест-накрест
в объятья берут.

Хорошо поступают. Правильно.
Славой меченный,
пулей раненный,
он сполна заслужил того.
Ведь случались такие трудности —

все спасение было в крутости
да в душевном слове его.

Приходилось
не по асфальту ведь —
через кручи Карпат
по Альфельду
к Пешту топать месяцев шесть...

Жив останешься —
сможешь выспаться,
хочешь — в Эгере,
хочешь в Мишкольце...
Лучше в Мишкольце:
в этом Мишкольце
минеральные
бани
есть.
В непролазно крутой распутице
вязнут пушки,
тонут по ступицу,
а уж мина летит, урчит.
Упадет солдат —
как оступится,
и по каске
дождик
стучит...

Мне вот это все
вспоминается,
с поездов пока собираются
ветераны
со всей
страны.
Подъезжают
по обстоятельствам,

что прямое имели касательство
к судьбам Венгрии
в дни войны.

Как войны той
чернорабочие,
оказались и мы
меж прочими —
посчастливилось нам двоим.
Независимо
на обочине
С Головцовым Васей[1] стоим.

С генералами рядом. Запросто.
На душе и робко и радостно,
только делаем вид такой,
что т а к о е
нам
не впервой!

У Василия бровь дугой,
говорит он:
— Ну что ж, мне нравится,
только как же так получается?
Маловато все же солдат...
Когда топали к Пешту
в мыле,
генералы, конечно,
были,
но чтоб столько —
не думал, брат...

---

[1] Василий Головцов — солдат-ивановец, с которого венгерский скульптор Ж. К. Штробль изваял советского солдата-освободителя для монумента на горе Геллерт над Дунаем.

Дескать,
списки взять
да проверить бы:
не по рангам ли славу делите,
не вписали ли зря кого...

Позабыл солдат,
что на Геллерте
изваяли
все же
его...

Потому что
от века свято
знают маршалы и солдаты
непреложный один завет:
ни редутов нет
без солдата,
ни салютов нет
без солдата,
вообще —
ни войн, ни побед!

И еще —
было б дюже странно,
если б жданно
и все ж нежданно,
натурально, почти вблизи,
не возникла б, как из тумана,
Николаева-Лунгу Анна —
да не вышла бы из такси.

Рядом — прапорщик.
Колька вроде?..
— Честь имею, дядя Володя! —
и давай каблучком смолить.

— Тридцать лет — как в прорву.
А все же
не забылся тот финский ножик...
— Помкомвзвода
знал что дарить!..

Близ
скрещенья московских улиц
я стою и Колькой любуюсь,
отмечая пехотный кант...
Шевелюру бы поредее
да чуть звездочки покрупнее —
и совсем
генерал-лейтенант!

Говорит он:
— Ну что вы, право,
запропали... Мешает слава?
С нею лучше дел не иметь!
И вообще,— продолжает прапор,—
непростительно
так
стареть.

Пусть с инфарктом
и пусть в маститых,
перебрал во всех габаритах,
да и весу раздолье дал!..
Килограммчиков десять ровно
можно скинуть бы
без урона.
Ну совсем неспортивен стал!..

Ах ты, молодость,
эх, сорока,
и зачем же ты так жестока?

Укорот дай
словам своим.
Пусть под горку идем, не в гору,
а рассердимся, так и фору
молодым
кое в чем
дадим.

Да и было бы чем
кичиться? —
Сберегали и мы границы!
И устав берегли, как честь.
Да и порох в пороховницах
пусть какой-никакой,
а есть!

Поскорее
веди-ка к маме,
то есть к Ане...
Во всем — славяне:
позабыли уж,
что к чему!..
Подойди-ка,
дай обниму.

XII

Города проносятся в ночи
за оконной шторкою неплотной...
Сонными колесами стучит
подо мной вагон международный.

А за переборкою-стеной
на обыкновенной полке-стенке
дремлет командарм 40-й,
боевой наш генерал Жмаченко.

Лишь единым глазом на КП
как-то раз видал его — в Карпатах...
А за переборкою в купе —
взводные, старшины и солдаты.

Те,
что при транзите в дни войны
не спускались
ниже третьей полки...
Жаркие досматривают сны
на перлоне,
выстеганном шелком.

Только мне, знать, мучиться опять,
продираясь памятью сквозь заметь.
К дням минувшим отсылая вспять,
свой рулон
раскручивает память...

Не питал особенных надежд
и не отпевал себя заранее...
Впереди —
Токай и Будапешт,
позади —
Бодрог и Трансильвания.
Ржавая «колючка» в три кола
горной виллы
короля Михая...
Трое суток тявкала гора
пулеметно-минометным лаем.
Бил из пулеметов Кымпулунг,
стиснув роту
четырьмя высотами...
Землю рвал
войны каленый плут —
огрызалась дотами и дзотами.

А в походной сумке у меня —
котелок,
с иголкою катушка;
для добычи дыма и огня —
персонально-личная «катюша»,—
с голубой Молдовы кремешок,
трут да трубка,
    рашпиля обломок...
(Через годы
в Альпах тот мешок
обнаружит егеря потомок...)
Два запасных диска к ППШа,
скрученных
    исподнею рубашкой...
В ней-то вот
    и теплилась душа,
перед фронтом-тылом нараспашку,
и произошел на свет талант
лютой терпеливости народной...
Вот вам —
    и пехотный лейтенант
а по-фронтовому —
    ванька-взводный.
И поскольку был незаменим,
как добавка
    в броневом металле,
даже генералы перед ним
мысленно
навытяжку вставали.

Но поскольку был незаменим —
дальше фронта
    и не посылали...

И была нелепо коротка
песня-жизнь

войны чернорабочих,—
как о двух погонах
мотылька,
а порою —
и того короче...

Сколько их, могил, в краях чужих!
Скольких —
не смогли из боя вынести...
Чтоб народы,
распри позабыв,
встали
под знамена
справедливости.
Не с того ль
мучительные сны
уцелевшим
виновато снятся?..
Если б не случайности войны,
судьбами вернувшихся они
с мертвыми могли бы поменяться.

XIII

Мой водитель — меня ж толкает,
из последних
крепится сил...
— В сорок пятом
ты был в Токае?..
Я тебе патефон крутил!
До рассвета с моей сестрою
всё фокстротил...
И я, не скрою,
стал уже серчать на нее.
Еще трое
были с тобою...
И у каждого, брат, ружье!

Я смотрю на него, не зная,
что сказать,
промолчать в ответ?..
Лихорадочно вспоминаю:
быть такое могло иль нет?..

Очень мило
и озабоченно
морщу лоб,
как песок — волна...
Если было,
то чем закончилось?..
Как-никак,
а была война.
Не влетела б
в ответ ошибка,
вдруг разыгрывает таксист?..

...На высотах стреляли шибко —
это помнится и без виз.

Сумасшедше цвела весна,
прибивалась к концу война...

— Все ж, водитель, припомни
получше:
а какой у меня был чин?..
— А всего скорей — подпоручик:
две звезды, а просвет один...
— При повозках или верхами
на подворье были твоем?..
— Белый-белый
был под седлом,
А у глаз как очки. Кругами...
Хутор наш — под самой горой,
аж в подошву —
окошек створки...

— Неужель ты и есть Карой?
— С дня рожденья Карой Дерге!..

Знать, воистину что пути
на земле
неисповедимы...
...Поровней баранку крути,
не махни в кювет,
побратим мой!

Глаз своих,
как с ошалелых, с нас
не спускают Анна с Николаем...
А водитель
жмет на полный газ
по рябой бетонке от Дуная.

За горами скрылся Будапешт
и отель наш
рядом с замком Ма́ргит...
Потеснись к кессону, если пеш,
пусть Карой
покажет класс и марку!..

А вот здесь, шофер, остановись.
По тропинке, затененной тисом,
нам сходить
с венком печали
вниз,
где гремит волной о берег Тисса.
Как тогда,
с карпатских гор в Дунай
мимо сел с разбегу воды катит...
В половодье с Тиссой не зевай —
разнесет и плот,
не то что катер!

Рулевой — давно вниманье весь.
Как тогда,
все ближе берег правый.
Я рукой показываю — здесь...

...И гремит и стонет переправа...
И ложится на воду венок.
Каменея, слез не прячет Анна...

Подержал
и погасил поток
восковую свечечку каштана...
Коротка, знать, память у реки,
для нее венок — не много значит...
Не беда, что плачут старики,
хорошо, что прапорщики плачут.

XIV

На граните суровая дата:
1941—1945.
Остальных
не выбито
вех.
Уточняю:
родился в двадцатом,
подтверждаю:
погиб в сорок пятом.

Был майором, а не солдатом.
Смерть
в бою
уравняла
всех...
Словно сердце свое — не канны
на гранит возлагает Анна
и как каменная стоит...

А уж лучше б
о камни билась,
чтоб о камни боль притупилась,
на весь Кремль
рыдала
навзрыд.

С богом молвивший и безмолвный,
недалеко и сам Верховный
под кремлевской
стеной
лежит...

А она молчит как немая —
и живая и неживая,
и на Вечный
огонь
глядит.

А Москва шумит, как обычно.
Для нее и это привычно —
об решетку
огненный
гул...
На отмашку рубя руками,
о гранит гремя сапогами,
на развод
идет
караул.

И глаза поднимает Анна.
И глаза опускает Анна.
И кладет
на гранит
ладонь.

Не с усталости опереться,—
чтоб ребята
могли
согреться...

День и ночь
на уровне сердца
полыхает
Вечный огонь.

XV

Гулкий плац хозяйства корпусного.
Час поверки. Знойные края...
Затаив дыхание,
                    ловит слово
фронтовая молодость моя.

Выкликает
              с трепетом сердечным
прапорщик,
              вернувшийся в войска,
имена,
внесенные навечно
в главный список энского полка.

В сумраке, густеющем мгновенно,
мне не разглядеть его лица...

Открывает список сокровенный
именем погибшего отца.

Откликом торжественным и четким
плац гудит.
              Как бы из бронзы он.
Словно бы президиум почетный
свято избирает батальон!..

Слава вам
без тостов и речей,
бывшие старшины
в дни иные,
прапорщики Армии моей —
поколений воинских связные.

1972—1973

Плотник Нестор

Рубить в высоту —
как мера и красота скажут.
Из Наставной грамоты

1

Был талантлив как бог,
все он мог и умел,
плотник Нестор —
смерд бессмертный,
мужик,
подаривший России Кижи...

Он доподлинно знал:
при таланте
важней всего — место,
где мечте в основанье
дубовые лягут кряжи.

Чтоб обзор — на века
из любого грядущего века,
а позор, так позор...
Да свершить надо дело сперва!
И — за пояс топор.
Неторопко побрел вкруг Онего.
Оглядел. Осмотрел.
И теперь объезжал острова.

А волна рокотала,
играла
и в донышко била,
и водой обдавала
портов домотканых рядно...
Из-за сосен выкатывалось
и волну золотило

светило —
в планы дерзкие Нестора
тоже входило оно.
Не для бога замыслено
чудо — чудо чудес,
не для славы,
озаренье такое — находка,
кого ни спроси...
Надо так посадить
узорочные луковки-главы,
чтобы каждый дивился:
— А есть мастера на Руси!

И не только под Суздалем
или в Ростове титаны,
что прославили издавна
каменных дел ремесло.
В камне — строить не шутка.
А сделай-ка храм деревянный!
И стоял чтобы прочно
и виделся лепо зело.
Веселил чтобы души
отверженных,
сирых и беглых,
кто б ни царствовал дале
и кто бы ни пер на престол.
Ну, а вера?..—
химера!
Обилие книг непотребных
и потребных прочел —
все равно: что закон,
что раскол...

Кто б ни глянул на храм,
хоть в пол-ока,
не важно откуда,—

князь он,
смерд ли
из самой что есть голытьбы,
просиял бы лицом:
«Ну и ну!.. Всяко видывал чудо,
а такого не зрел...»—
в восхищенье промолвил дабы.

Вот свершить бы такое —
без скудости чтоб и не просто,
позатейливей вынести,
ну а потом — хоть погост...
И ступил он лаптишком
на облюбованный остров,
что кугой по краям,
а по плешам — можжухой порос.
До полудня похаживал
взад и вперед неторопко,
мозговал да прикидывал,
ставил пометы ладком.
Землю брал на мозоли:
«И гоже, да в водополь —
топко...» —
и качал головою,
и меты сбивал лапотком.

Вымерял, отступал
и натягивал вервие снова —
так гусляр на колки
перед песнею
ладит струну.
То хитро улыбался,
а то тяжело и сурово
на Онего глядел он
и бороду брал в пятерню:

«Мастера — кто в бегах,
кто в острогах давно,
кто в расколе.
Уж добро, что любой
по топорному делу знаком...»
На еловом пеньке
затесал заголовные колья,
поплевал на ладони
и в землю вогнал обушком.

Распластался в траве.
В голове — и прожект и размеры.
«Повеление есть.
И пора!.. И потрудимся всласть».
И глядели на Нестора
из-за кустов
староверы
с безотчетной опаской,
забыв про рыбацкую снасть.

Был он рыж, как пожар,
а лежал как ребенок —
враскидку,
а в глазах одержимость
и злостью людской,
и добром.
Словно колокол — грудь,
и такому не дашь под микитки —
сам он вышибет душу.
К тому же еще — с топором...

Вдаль текли над Онего
крылатые летние тучи,
зычно чайки кричали
и резали волны крылом.
Вскинул бороду Нестор.

Поднялся.
Поправил онучи.
И крестом осенился,
и в отмель ударил веслом.

2

От жилетки рукава
блохи отожрали...
Раз —
        два,
раз —
      два,
подхватили,
взяли!

К одному — клади одно,
а не как
вышло.
Попадешь
под бревно,
так оно —
не дышло.

Не снесешь
медяков
даже на кружало.
Скольких уж
дураков
хорошо прижало!
С кондачка развернешь —
горлом кровь...
Одышка.
А возьмут на правеж —
тут тебе и крышка...

Глаз кося на суки,
не с плебейским шиком

рубит с левой руки
ловко
поп-расстрига.

Как с пером,
с топором
знает обхожденье.
Рубит сруб,
да не дом —
храм Преображенья!

Пот
льет
на живот
с волосни и уха.
А царь Петр
где-то пьет,
цедит медовуху.

Говорят,
пьет ведром
и других потешит...
Ну, а мы
топором
как-нибудь потешем.
Нам что елка, что дуб —
как для бабы тесто.

Хоть и лют,—
сердцу люб
главный плотник
Нестор.

Зарубает углы,
а глазами рыщет.

Чуть что:
— Эх, волы! —
вырвет топорище.—

Подавай, давай, давай!
Шевелись...
Ну-ка!
Сдуру рот не разевай,
пожалей руку.

Брус ложи на ребро,
заводи помалу...

Держат ухо востро
царевы фискалы.

Если слаб на язык,
клади на колоду...
Словно слит восьмерик —
наливай хоть воду.

И ложится бревно
комелечком в угол.
В сруб заглянешь —
темно.
Пора бы и купол!

Высота, да не та!
Только сердцу вера:
это скажет красота
и покажет мера.

Тут сноровка важна,
изнутри подправа.
Чтоб пучин крутизна
обтекала главы...

Гулок звон топоров
с зорьки до захода.
Двадцать пять куполов,
сорок переходов.

3

Лезет в душу туман
по ночам
с Онеги...

Положил атаман
голову на слеги.

Походил на стругах
вольною порою.
Третье лето —
в бегах
с порванной ноздрею.

Погулял горячо,
поиграл со смертью...

Рядом с ним о плечо —
приписные смерды.

Каждый гол
как сокол,
а к работе — ярый...

Тридцать пятый
котел
ставят кашевары.

Закачалось опять
ночи коромысло.

Атаману доспать
помешали мысли:

«Надорвался народ,
люди мрут
как мухи.
А царь Петр
где-то пьет,
цедит медовуху...»

Атаман
не поймет,
обливаясь потом:
прижимал
Петр
народ,
но и сам работал!

Мог любому послу
подложить «укропу»...
На себя взять хулу
хоть за всю Европу.
Парусят паруса
с норда
и веста...
— Мужики — на леса! —
объявляет Нестор.

Как упали леса,
полегли на тропки —
стало больно глазам,
а на сердце —
робко.

От сумы да тюрьмы!
И вздохнул Ерема:
— Да неуж это мы
совершили?..
Дрема!

А былой атаман:
— Тараканы нешто?..
Знамо, мы.
А талан,
потому что — Нестор...

И стоят без затей.
На ресницах —
влага.
То ли — голь,
то ль — артель.
Мастера. Ватага.

Зрят,
глаза возведя
на фронтоны-соты.
Ни скобы, ни гвоздя —
топором работа.
Каждый паз —
будь здоров! —
наливай хоть воду...

Двадцать пять куполов,
сорок переходов.

4

Вдаль текли над Онего
тяжелые серые тучи,
хмуро чайки кричали,
срываясь с осенней волны.
Словно два изваянья,
карелы стояли над кручей
и смотрели на воду,
и била
волна
в валуны.

Перемытый песок
был с корьем и щепой перемешан
и истоптан лаптями:
сюда подгоняли плоты...
Разрывая кусты,
Нестор спрыгнул на отмель,
как леший.
В бородище — труха,
ворот настежь,
и плечи — круты.

Улыбнулся чему-то...
За пояс заткнул топоришко
и пеньковую чалку
из берега выдрал с колом.
Как сухая скорлупка,
под ним заплясал челночишко:
— Поглядим-ко с Онего!.. —
и враз отпихнулся веслом.

Может быть,
и не знал он
законов прямой перспективы —
развернулся где надо,
вперил в переходики взор...
И, как вздох облегченья,
с губ пало взыскательно:
— Диво...—
Вскинул бороду Нестор
и кинул в Онего топор...

С той поры пролетело,
отплакало в скалах два века.
Да полвека еще
над студеным
Онего прошло.

А поди ж вот — зовет,
за живое берет человека.
Обернулось искусством,
а было всего — ремесло.

Шли мы к свету из тьмы,
от кручины-лучины — к неону,
от поскони — к нейлону,
и ладим мосты до Луны.
Не с того ль и дошло до души,
что стеклу и бетону
не помеха —
приметы
седой,
но земной старины.

1965

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭМЫ

Жуков В. С.

Ж66 Иволга. Лирика, поэмы. М., «Сов. Россия», 1976.
240 с.

Искренняя, мужественная и доверительная поэзия Владимира Жукова уже давно снискала признательность читателя. В эту книгу вошли лучшие стихи и поэмы, написанные поэтом более чем за 30 лет.

Р2

Ж $\frac{70402-153}{М\text{-}105(03)76}$ 149—76

Владимир Семенович Жуков

ИВОЛГА

Редактор **С. В. Музыченко**
Художник **И. А. Гусева**
Художественный редактор **Р. А. Клочков**
Технический редактор **Т. И. Гончарова**
Корректор **Л. В. Конкина**

Кодированный оригинал-макет издания подготовлен на электронном печатно-кодирующем и корректирующем устройстве «Тула». Подписан к печати 13/Х-75 г. Формат бум. 70×90/32. Физ. печ. л. 7,5. Усл. печ. л. 8,77. Уч.-изд. л. 7,96. Изд. инд. ЛХП-15. А09404. Тираж 20.000 экз. Цена 90 коп. в переплете. Бум. № 1 типограф. Зак. 404.

Издательство «Советская Россия»
Москва, проезд Сапунова, 13/15

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

ов.

зия
ость
мы,

Р2

а

90 коп.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ


ИВОЛГА
ВЛАДИМИР ЖУКОВ